

Леонид Андреев

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Классики
и
современники



Классики и современники

Леонид Андреев

Повести и рассказы

«Художественная литература»

1898–1908

УДК 82/821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)

Андреев Л. Н.

Повести и рассказы / Л. Н. Андреев — «Художественная литература», 1898–1908 — (Классики и современники)

ISBN 978-5-280-03942-1

В книге замечательного писателя Л. Андреева представлены повести и рассказы, написанные в разные периоды его творчества. Первый опубликованный рассказ «Баргамот и Гараська» открывает сборник. Рассчитан на любителей русской литературы.

УДК 82/821.161.1

ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-280-03942-1

© Андреев Л. Н., 1898–1908
© Художественная литература, 1898–
1908

Содержание

Сфинкс российской интеллигенции	6
Баргамот и Гараська	10
Петька на даче	15
Ангелочек	20
Большой шлем	28
Кусака	34
Первый гонорар	39
Рассказ о Сергее Петровиче	47
Конец ознакомительного фрагмента.	55

Леонид Андреев

Повести и рассказы

Все иллюстрации в издании предоставлены БУКОО «Орловский объединенный государственный литературный музей им. И.С.Тургенева»(ОГЛМТ)

Для оформления переплета использованы рисунки художника А. И. Белюкина к рассказам Л. Андреева «Ангелочек» и «Большой шлем»



© Издательство «Художественная литература», 2022 г.

© БУКОО «Орловский объединенный государственный литературный музей им. И. С. Тургенева» (ОГЛМТ), иллюстрации, 2021 г.

Сфинкс российской интеллигенции

Всё-таки это единственный из современных писателей, к кому меня влечёт, чью всякую новую вещь я тотчас же читаю.

И. Бунин

Выдающийся русский писатель, классик литературы Серебряного века Леонид Андреев родился 9 (21) августа 1871 года в городе Орле на 2-й Пушкарной улице. Его отец, Николай Иванович, – землемер-таксатор, мать, Анастасия Николаевна, урожденная Пацковская, происходила из обедневшего польского дворянского рода. К моменту рождения сына Андреев получил место в банке, приобрел дом и начал обзаводиться хозяйством. Николай Иванович был заметной фигурой: «пушкари, проломленные головы» уважали его за необыкновенную физическую силу и чувство справедливости. Леонид Андреев позже объяснял твердость своего характера наследственностью со стороны отца, тогда как свои творческие способности целиком относил к материнской линии. Основным достоинством его мамы была беззаветная любовь к детям, и особенно к первенцу Ленуше. А еще она любила сочинять рассказы, и в них отделить быль от небылицы не мог никто.

Уже в гимназии Андреев открыл в себе дар слова: он писал сочинения для одноклассников, а взамен списывал задачки у друзей. В каждом «произведении» изменял манеру, подражая самым известным писателям современности: Чехову, Гаршину, Толстому. Но в гимназические годы Андреев о писательстве не помышлял и всерьез занимался только... рисованием. Хотя в Орле возможности учиться живописи не было, но это не помешало ему даже зарабатывать на жизнь написанными портретами и пейзажами. И впоследствии не раз сокрушался уже известный писатель о неразвитом своем таланте художника.

Помимо этого жизнь Андреева гимназиста заполняли книги Чарльза Диккенса, Жюль Верна, Майна Рида...

Можно предположить, что серьезным отношением к книге стало прочтение Писарева, а затем «В чем моя вера?» Толстого... Увлёкся трудами популярных тогда немецких философов А. Шопенгауэра и Ф. Ницше. Знаменитый трактат Шопенгауэра «Мир как воля и представление» на протяжении многих лет оставался одной из любимых книг Леонида Андреева.

В 1891 году, окончив гимназию, Андреев поступил на юридический факультет Петербургского университета, но вскоре он оставляет учебу по личным причинам. Лишь в 1893 году он восстанавливается уже в Московском университете. В мае 1897 года Л. Андреев успешно сдал государственные экзамены в университете, и, хотя диплом его оказался лишь второй степени, этого было вполне достаточно для начала адвокатской деятельности.

Однако принять активное участие в судебных разбирательствах не пришлось: написание юридических отчётов и репортажей из зала суда занимало много времени – так, выполняя задания, он проявлял свой литературный талант.

Но всё-таки начало своей литературной деятельности сам писатель датирует 1898 годом, после публикации в московской газете «Курьер» его первого рассказа «Баргамот и Гараська». Благодаря хорошим отзывам критиков, в том числе Максима Горького, Леонид Андреев попадает в писательскую среду и участвует в заседаниях книгоиздательского товарищества «Знание». Вскоре, по рекомендации Горького, становится участником знаменитых литературных «Сред», знакомится с Буниным, Вересаевым, Телешовым, Куприным и другими писателями-реалистами, собиравшимися для чтения и обсуждения написанных произведений. Творческое общение, дружеская и в то же время строгая критика, да и просто теплота и понимание, – все это было крайне необходимо Андрееву. В 1900 году писатель делает окончательный выбор в пользу литературы.

В 1901 году издательство «Знание» выпускает первый сборник рассказов Андреева. Книга выдерживает за год четыре переиздания, это приносит ее автору широкую известность.

О чем же писал тогда Андреев и кто были его герои? Сюжеты он почти не выдумывал – просто умел их выделить из происходящего вокруг в Орле, Петербурге, Москве. На окрестных улицах родного города увидел персонажей будущих его рассказов – Баргамота и Гараську, Сазонку и Сенисту («Гостинец»), Сашку («Ангелочек»). Растаявший ангелочек, жизнь нищего-анца Сергея Петровича, соседство в палате купца Кошеварова и дьякона Сперанского («Жили-были»), – все это происходило «на самом деле». И во всем этом надо было увидеть что-то, скрытое от других глаз, сказать о привычном особенными словами. Но мог ли говорить в действительности подсмотренный Андреевым «маленький человек» о том, «какая это странная и ужасная вещь жизнь, в которой так много всего неожиданного и непонятного»? К тому же и читатели нашли уже в первом его сборнике те самые «кошмары жизни», которые проникали в каждую душу, не признавая социальных перегородок. В необходимости своих произведений, в общечеловеческой, нравственной значимости привычных бытовых коллизий – писатель не сомневался.

Широкая известность, пришедшая к автору, была одной стороной его жизни, а другая сторона, как впоследствии писатель отмечал: «...любовь составляет необходимое условие моего человеческого существования и личную жизнь». После перенесенных душевных травм он получил согласие на брак с Александрой Михайловной Велигорской – внучатой племянницей Тараса Шевченко. Ей незадолго до свадьбы он посвятил сборник лирических рассказов. «Пустынею и кабаком была моя жизнь, и был я одинок, и в самом себе не имел я друга... Ты одна из всех людей знаешь мое сердце, ты одна заглянула в глубину его – и... когда сомневался я сам, ты поверила в меня».

Казалось бы, все складывалось удачно: писательская слава, общение с выдающимися людьми России и, наконец, любовь прекрасной девушки, женитьба. И вот оно – счастье... но очередным трагическим потрясением для Андреева оказалась смерть жены в 1906 году.

Леонид Николаевич безутешен и по приглашению Алексея Максимовича Горького уезжает на Капри. В доме писателя его понимают и стремятся помочь избавиться от уныния и тоски.

В период Первой русской революции Леонид Андреев под влиянием Максима Горького увлекается ее идеями. Искренне сопереживая борцам, поддерживая их – в начале 1905 года он даже отсидел две недели в тюрьме за предоставление своей квартиры членам ЦК РСДРП, – хотя истинное свободолобие этот писатель находил только в отдельной личности. И потому склонности к политической активности Андреев и не проявлял. Ему интересно – столкновение «чувства» и «мысли».

Пережив тяжелый период жизни, глубоко погрузившись в работу, Андреев публикует объявление о вакансии личного секретаря и на собеседовании знакомится с Анной Ильиничной Денисевич, ставшей впоследствии его женой. Ей было тогда 22 года. Сразу после свадьбы, это событие произошло в 1908 году, чета Андреевых переехала в финскую деревню Вammelсу, недалеко от Петербурга, причем новый дом для молодых супругов Андреев проектировал сам. Устроенный быт вносит размеренность и в работу Андреева. Эта усадьба, похожая на скандинавский средневековый замок, не сохранилась.

Андреев был одним из самых востребованных писателей своего времени. На 1906–1908 годы приходится пик его популярности. Несмотря на это, с каждым новым произведением автора все более заметной становилась его обособленность от всех существовавших тогда литературных течений. Понимая это, писатель задает себе вопрос: «Кто я?» Растерянность Андреева была объяснима: многих писателей реалистического направления – Чехова, Гаршина, Толстого, Достоевского – он высоко ценил как своих учителей; хотя остро чувствовал свою оторванность от литературных традиций XIX века. Новая эпоха – начало XX века – дик-

товала новое содержание его творчеству и требовала для этого содержания новых форм. Но не социальные потрясения были основным источником тревоги, которая наполняла андреевские произведения. А одинокая личность и ее трагедия, оказавшаяся перед неизвестностью. Подобные переживания были знакомы многим. Раскрывал в своих произведениях волнующие его вопросы каждый художник по-разному.

Громко и внушительно прозвучал голос богооставленного человека, обращенный к безмолвным небесам, в «Жизни Василия Фивейского», написанной в 1903 году. Одно из лучших произведений писателя было высоко оценено критикой.

Появившийся в 1900 году «Рассказ о Сергее Петровиче» – этот синтез опыта автора, миропостижения «по Ницше» и собственных впечатлений, в них он часто маскировал глубочайшее отчаяние.

Замечательным примером обращения Андреева к формам реалистического повествования является написанная в 1908 году повесть «Рассказ о семи повешенных». Внимательный взгляд художника останавливается на фигуре террориста, и снова он отыскивает в ней не политически или идеологически значимое, а общечеловечески ценное.

Современники называли Леонида Андреева «сфинксом российской интеллигенции» и пытались понять и объяснить необычный «строй души» этого художника. Позже, благодаря письмам, дневникам и воспоминаниям стали известны источники, влиявшие на умонастроения Андреева.

Автор завораживал читателей, раскрывая перед ними самые темные и мрачные закоулки человеческой души, сюжеты в его рассказах и повестях надолго врезались в память.

После революции 1917 года писатель оказался в вынужденной эмиграции: деревня, в которой он жил, отошла по мирному договору Финляндии. Андреев тяжело переживал все революционные перипетии в стране и оторванность от России. 19 мая 1918 года он записал в своем дневнике: «Вчера вечером нахлынула на меня тоска, та самая жестокая и страшная тоска, с которой я борюсь, как с самой смертью».

12 сентября 1919 года в Финляндии, в отдаленной деревне Нейвола, куда семья писателя переехала из-за близости к линии фронта, в возрасте 48 лет скончался Леонид Андреев. Граница, обозначившая в 1918 году независимость Финляндии, оказалась почти непроницаемой, и долго еще в прессе публиковались подтверждения и опровержения печальной вести.

Каким же останется в памяти Леонид Николаевич Андреев?

Из многочисленных свидетельств современников перед читателем предстает добрый, участливый человек, ощущавший непреходящее одиночество в любом обществе.

Корней Чуковский, хорошо знавший Леонида Николаевича, не раз отмечал добрую душу писателя, помогавшего попавшим в беду и даже тем, кто не всегда был к нему лояльным.

Александр Блок в статье «Памяти Леонида Андреева» писал: «Леонид Андреев, который жил в писателе Леониде Николаевиче, был бесконечно одинок, не признан и всегда обращен лицом в провал черного окна. В такое окно и пришла к нему последняя гостья в черной маске – смерть».

Максим Горький отмечал: «Он был таков, каким хотел и умел быть – человеком редкой оригинальности, редкого таланта и достаточно мужественным в своих поисках истины».

А сам Леонид Андреев считал: «Ложь перед самим собою – это наиболее распространенная и самая низкая форма порабощения человека жизнью».

Вокруг творчества писателя долгие годы шла нешуточная полемика.

В 1930 году вышла книга «Реквием. Памяти Леонида Андреева», а потом – долгие годы молчания.

Второе «открытие» творчества Леонида Андреева произошло в 1956 году с выходом сборника «Рассказы».

Спустя десятилетия прекрасный писатель, хороший художник, честный человек Леонид Николаевич Андреев вернулся к своему читателю.

Баргамот и Гараська

Было бы несправедливо сказать, что природа обидела Ивана Акиндинича Бергамотова, в своей официальной части именованного «городовой бляха № 20», а в неофициальной попросту «Баргамот». Обитатели одной из окраин губернского города Орла, в свою очередь, по отношению к месту жительства называвшиеся пушкарями (от названия Пушкарной улицы), а с духовной стороны характеризовавшиеся прозвищем «пушкарки – проломленные головы», давая Ивану Акиндиничу это имя, без сомнения, не имели в виду свойств, присущих столь нежному и деликатному плоду, как бергамот. По своей внешности «Баргамот» скорее напоминал мастодонта или вообще одного из тех милых, но погибших созданий, которые за недостатком помещения давно уже покинули землю, заполненную мозгляками-людишками. Высокий, толстый, сильный, громогласный Баргамот составлял на полицейском горизонте видную фигуру и давно, конечно, достиг бы известных степеней, если бы душа его, сдавленная толстыми стенами, не была погружена в богатырский сон. Внешние впечатления, проходя в душу Баргамота через его маленькие, заплывшие глазки, по дороге теряли всю свою остроту и силу и доходили до места назначения лишь в виде слабых отзвуков и отблесков. Человек с возвышенными требованиями назвал бы его куском мяса, околоточные надзиратели величали его дубиной, хотя и исполнительной, для пушкарей же – наиболее заинтересованных в этом вопросе лиц – он был степенным, серьезным и солидным человеком, достойным всякого почета и уважения. То, что знал Баргамот, он знал твердо. Пусть это была одна инструкция для городских, когда-то с напряжением всего громадного тела усвоенная им, но зато эта инструкция так глубоко засела в его неповоротливом мозгу, что вытравить ее оттуда нельзя было даже крепкой водкой. Не менее прочную позицию занимали в его душе немногие истины, добытые путем житейского опыта и безусловно господствовавшие над местностью. Чего не знал Баргамот, о том он молчал с такой несокрушимой солидностью, что людям знающим становилось как будто немного совестно за свое знание. А самое главное, – Баргамот обладал непомерной силищей, сила же на Пушкарной улице была все. Населенная сапожниками, пенькотрепальщиками, кустарями-портными и иных свободных профессий представителями, обладая двумя кабаками, воскресеньями и понедельниками, все свои часы досуга Пушкарная посвящала гомерической драке, в которой принимали непосредственное участие жены, растрепанные, простоволосые, растаскивавшие мужей, и маленькие ребяташки, с восторгом взиравшие на отвагу тятек. Вся эта буйная волна пьяных пушкарей, как о каменный оплот, разбивалась о непоколебимого Баргамота, забиравшего методически в свои мощные длани пару наиболее отчаянных крикунов и самолично доставлявшего их «за клин». Крикуны покорно вручали свою судьбу в руки Баргамота, протестуя лишь для порядка.

Таков был Баргамот в области международных отношений. В сфере внутренней политики он держался с неменьшим достоинством. Маленькая, покосившаяся хибарка, в которой обитал Баргамот с женой и двумя детишками и которая с трудом вмещала его грузное тело, трясясь от дряхлости и страха за свое существование, когда Баргамот ворочался, – могла быть спокойна если не за свои деревянные устои, то за устои семейного союза. Хозяйственный, рачительный, любивший в свободные дни копать в огороде, Баргамот был строг. Путем того же физического воздействия он учил жену и детей, не столько сообразуясь с их действительными потребностями в науке, сколько с теми неясными на этот счет указаниями, которые существовали где-то в закоулке его большой головы. Это не мешало жене его Марье, еще молодой и красивой женщине, с одной стороны, уважать мужа как человека степенного и непьющего, а с другой – вертеть им, при всей его грузности, с такой легкостью и силой, на которую только и способны слабые женщины.

Часу в десятом теплого весеннего вечера Баргамот стоял на своем обычном посту, на углу Пушкарной и 3-й Посадской улиц. Настроение Баргамота было скверное. Завтра светлое Христово воскресенье, сейчас люди пойдут в церковь, а ему стоять на дежурстве до трех часов ночи, только к разговинам домой попадешь. Потребности молиться Баргамот не ощущал, но праздничное, светлое настроение, разлитое по необычайно тихой и спокойной улице, коснулось и его. Ему не нравилось место, на котором он ежедневно спокойно стоял в течение десятка годов: хотелось тоже делать что-нибудь такое праздничное, что делают другие. В виде смутных ощущений поднимались в нем недовольство и нетерпение. Кроме того, он был голоден. Жена нынче совсем не дала ему обедать. Так, только тюри пришлось похлебать. Большой живот настоятельно требовал пищи, а разговляться-то когда еще!

– Тьфу! – плюнул Баргамот, сделав сигарку, и начал нехотя сосать ее. Дома у него были хорошие папиросы, презентованные местным лавочником, но и они откладывались до «разговленья».

Вскоре потянулись в церковь и пушкари, чистые, благообразные, в пиджаках и жилетах поверх красных и синих шерстяных рубах, в длинных, с бесконечным количеством сборок, сапогах на высоких и острых каблучках. Завтра всему этому великолепию предстояло частью попасть на стойку кабаков, а частью быть разорванным в дружеской схватке за гармонию, но сегодня пушкари сияли. Каждый бережно нес узелок с пасхой и куличами. На Баргамота никто не обращал внимания, да и он с неособенной любовью посматривал на своих «крестников», смутно предчувствуя, сколько путешествий придется ему завтра совершить в участок. В сущности, ему было завидно, что они свободны и идут туда, где будет светло, шумно и радостно, а он торчит тут как неприкаянный.

«Стой тут из-за вас, пьяниц!» – резюмировал он свои размышления и еще раз плюнул – сосало под ложечкой.

Улица опустела. Отзвонили к обедне. Потом радостный, переливчатый трезвон, такой веселый после заунывных великопостных колоколов, разнес по миру благостную весть о воскресении Христа. Баргамот снял шапку и перекрестился. Скоро и домой. Баргамот повеселел, представляя себе стол, накрытый чистой скатертью, куличи, яйца. Он, не торопясь, со всеми похристосуетя. Разбудят и принесут Ванюшку, который первым делом потребует крашеного яичка, о котором целую неделю вел обстоятельные беседы с более опытной сестренкой. Вот-то разинет он рот, когда отец преподнесет ему не линючее, окрашенное фуксином яйцо, а настоящее мраморное, что самому ему презентовал все тот же обязательный лавочник!

«Потешный мальчик!» – ухмыльнулся Баргамот, чувствуя, как что-то вроде родительской нежности поднимается со дна его души.

Но благодушие Баргамота было нарушено самым подлым образом. За углом послышались неровные шаги и сиплое бормотанье. «Кого это несет нелегкая?» – подумал Баргамот, заглянул за угол и всей душой оскорбился. Гараська! Сам с своей собственной пьяной особой, – его только доставало! Где он поспел до свету наклюкаться, составляло его тайну, но что он наклюкался, было вне всякого сомнения. Его поведение, загадочное для всякого постороннего человека, для Баргамота, изучившего душу пушкаря вообще и подлую Гараськину натуру в частности, было вполне ясно. Влекомый непреодолимой силой, Гараська со середины улицы, по которой он имел обыкновение шествовать, был притиснут к забору. Упершись обеими руками и сосредоточенно-вопросительно вглядываясь в стену, Гараська покачивался, собирая силы для новой борьбы с неожиданными препятствиями. После непродолжительного напряженного размышления Гараська энергично отпихнулся от стены, дотянулся задом до середины улицы и, сделав решительный поворот, крупными шагами устремился в пространство, оказавшееся вовсе не таким бесконечным, как о нем говорят, и в действительности ограниченное массой фонарей. С первым же из них Гараська вступил в самые тесные отношения, заключив его в дружеские и крепкие объятия.

– Фонарь. Тпру! – кратко констатировал Гараська совершившийся факт. Вопреки обыкновению, Гараська был настроен чрезвычайно добродушно. Вместо того чтобы обсыпать столб заслуженными ругательствами, Гараська обратился к нему с кроткими упреками, носившими несколько фамильярный оттенок.

– Стой, дурашка, куда ты?! – бормотал он, откачиваясь от столба и снова всей грудью припадая к нему и чуть не сплющивая носа об его холодную и сыроватую поверхность. – Вот, вот!.. – Гараська, уже наполовину скользнувший вдоль столба, успел удержаться и погрузился в задумчивость.

Баргамот с высоты своего роста, презрительно скосив губы, смотрел на Гараську. Никто ему так не досаждал на Пушкарной, как этот пьянчужка. Так посмотришь, – в чем душа держится, а скандалист первый на всей окраине. Не человек, а язва. Пушкарь напьется, побуянит, переночует в участке – и все это выходит у него по-благородному, а Гараська все исподтишка, с язвительностью. И били-то его до полусмерти, и в части впроголодь держали, а все не могли отучить от ругани, самой обидной и злоязычной. Станет под окнами кого-нибудь из наиболее почетных лиц на Пушкарной и начнет костить, без всякой причины, здорово живешь. Приказчики ловят Гараську и бьют, – толпа хохочет, рекомендуя поддать жару. Самого Баргамота Гараська ругал так фантастически реально, что тот, не понимая даже всей соли Гараськиных острот, чувствовал, что он обижен более, чем если бы его выпороли. Чем промышлял Гараська, оставалось для пушкарей одной из тайн, которыми было облечено все его существование. Трезвым его не видел никто, даже та нянька, которая в детстве ушибает ребят, после чего от них слышится спиртный запах, – от Гараськи и до ушиба несло сивухой. Жил, то есть ночевал, Гараська по огородам, по берегу, под кусточками. Зимой куда-то исчезал, с первым дыханием весны появлялся. Что его привлекало на Пушкарную, где его не бил только ленивый, – было опять-таки тайной бездонной Гараськиной души, но выжить его ничем не могли. Предполагали, и не без основания, что Гараська поворовывает, но поймать его не могли и били лишь на основании косвенных улик.

На этот раз Гараське пришлось, видимо, преодолеть нелегкий путь. Отрепья, делавшие вид, что они серьезно прикрывают его тощее тело, были все в грязи, еще не успевшей засохнуть. Физиономия Гараськи, с большим отвислым красным носом, бесспорно служившим одной из причин его неустойчивости, покрытая жиденькой и неравномерно распределенной растительностью, хранила на себе вещественные знаки вещественных отношений к алкоголю и кулаку ближнего. На щеке у самого глаза виднелась царапина, видимо, недавнего происхождения.

Гараське удалось наконец расстаться с столбом, когда он заметил величественно-безмолвную фигуру Баргамота. Гараська обрадовался.

– Наше вам! Баргамоту Баргамотычу!.. Как ваше драгоценное здоровье? – Галантно он сделал ручкой, но, пошатнувшись, на всякий случай уперся спиной в столб.

– Куда идешь? – мрачно прогудел Баргамот.

– Наша дорога прямая...

– Воровать? А в часть хочешь? Сейчас, подлеца, отправлю.

– Не можете.

Гараська хотел сделать жест, выражающий удалство, но благоразумно удержался, плюнул и пошаркал на одном месте ногой, делая вид, что растирает плевки,

– А вот в участке поговоришь! Марш! – Мощная длань Баргамота устремилась к засаленному вороту Гараськи, настолько засаленному и рваному, что Баргамот был, очевидно, уже не первым руководителем Гараськи на тернистом пути добродетели.

Встряхнув слегка пьяницу и придав его телу надлежащее направление и некоторую устойчивость, Баргамот потащил его к вышеуказанной им цели, совершенно уподобляясь могучему буксиру, влекущему за собою легонькую шхуну, потерпевшую аварию у самого входа в гавань. Он чувствовал себя глубоко обиженным: вместо заслуженного отдыха тащись с этим пьянчуж-

кой в участок. Эх! У Баргамота чесались руки, но сознание того, что в такой великий день как будто неудобно пускать их в ход, сдерживало его. Гараська шагал бодро, совмещая удивительным образом самоуверенность и даже дерзость с кротостью. У него, очевидно, была своя мысль, к которой он и начал подходить сократовским методом:

– А скажи, господин городской, какой нынче у нас день?

– Уж молчал бы! – презрительно ответил Баргамот. – До свету налился.

– А у Михаила-архангела звонили?

– Звонили. Тебе-то что?

– Христос, значит, воскрес?

– Ну, воскрес.

– Так позвольте... – Гараська, ведший этот разговор вполоборота к Баргамоту, решительно повернулся к нему лицом.

Баргамот, заинтригованный странными вопросами Гараськи, машинально выпустил из руки засаленный ворот; Гараська, утратив точку опоры, пошатнулся и упал, не успев показать Баргамоту предмета, только что вынутого им из кармана. Приподнявшись одним туловищем, опираясь на руки, Гараська посмотрел вниз, – потом упал лицом на землю и завыл, как бабы воют по покойнике.

Гараська воет! Баргамот изумился. «Новую шутку, должно быть, выдумал», – решил он, но все же заинтересовался, что будет дальше. Дальше Гараська продолжал выть без слов, по-собачьи.

– Что ты, очумел, что ли? – ткнул его ногой Баргамот.

Воет. Баргамот в раздумье.

– Да чего тебя расхватывает?

– Яи-ч-ко...

Гараська, продолжая выть, но уже потише, сел и поднял руку кверху. Рука была покрыта какой-то слизью, к которой пристали кусочки крашеной яичной скорлупы. Баргамот, продолжая недоумевать, начинает чувствовать, что случилось что-то нехорошее.

– Я... по-благородному... похристосоваться... яичко, а ты... – бессвязно бурлил Гараська, но Баргамот понял. Вот к чему, стало быть, вел Гараська: похристосоваться хотел, по христианскому обычаю, яичком, а он, Баргамот, его в участок пожелал отправить. Может, откуда он это яичко нес, а теперь вон разбил его. И плачет.

Баргамоту представилось, что мраморное яичко, которое он бережет для Ванюшки, разбилось, и как это ему, Баргамоту, было жаль.

– Экая оказия, – мотал головой Баргамот, глядя на валявшегося пьянчужку и чувствуя, что жалок ему этот человек, как брат родной, кровно своим же братом обиженный.

– Похристосоваться хотел... Тоже душа живая, – бормотал городской, стараясь со всею неуклюжестью отдать себе ясный отчет в положении дел и в том сложном чувстве стыда и жалости, которое все более угнетало его. – А я, тово... в участок! Ишь ты!

Тяжело крикнув и стукнув своей «сеledкой» по камню, Баргамот присел на корточки около Гараськи.

– Ну... – смущенно гудел он. – Может, оно не разбилось?

– Да, не разбилось, ты и морду-то всю готов разбить. Ирод!

– А ты чего же?

– Чего? – передразнил Гараська. – К нему по-благородному, а он в... в участок. Может, яичко-то у меня последнее? Идол!

Баргамот пыхтел. Его несколько не оскорбляли ругательства Гараськи; всем своим нескладным нутром он ощущал не то жалость, не то совесть. Где-то, в самых отдаленных недрах его дюжего тела, что-то назойливо сверлило и мучило.

– Да разве вас можно не бить? – спросил Баргамот не то себя, не то Гараську.

– Да ты, чучело огородное, пойми...

Гараська, видимо, входил в обычную колею. В его несколько проясневшем мозгу вырисовывалась целая перспектива самых соблазнительных ругательств и обидных прозвищ, когда сосредоточенно сопевший Баргамот голосом, не оставлявшим ни малейшего сомнения в твердости принятого им решения, заявил:

– Пойдем ко мне разговляться.

– Так я к тебе, пузатому черту, и пошел!

– Пойдем, говорю!

Изумлению Гараськи не было границ. Совершенно пассивно позволив себя поднять, он шел, ведомый под руку Баргамотом, шел – и куда же? – не в участок, а в дом к самому Баргамоту, чтобы там еще... разговляться! В голове Гараськи блеснула соблазнительная мысль – наострить от Баргамота лыжи, но хоть голова его и прояснела от необычности положения, зато лыжи находились в самом дурном состоянии, как бы поклявшись вечно цепляться друг за друга и не давать друг другу ходу. Да и Баргамот был так чуден, что Гараське, собственно говоря, и не хотелось уходить. С трудом ворочая языком, приискивая слова и путаясь, Баргамот то излагал ему инструкцию для городских, то снова возвращался к основному вопросу о битье и участке, разрешая его в смысле положительном, но в то же время и отрицательном.

– Верно говорите, Иван Акиндиныч, нельзя нас не бить, – поддерживал Гараська, чувствуя даже какую-то неловкость: уж больно чуден был Баргамот!

– Да нет, не то я говорю... – мямлил Баргамот, еще менее, очевидно, чем Гараська, понимавший, что городит его суконный язык...

Пришли наконец домой, – и Гараська уже перестал изумляться. Марья сперва вытаращила глаза при виде необычайной пары, – но по растерянному лицу мужа догадалась, что противоречить не нужно, а по своему женскому мягкосердечию живо смекнула, что надо делать.

Вот ошалевший и притихший Гараська сидит за убранным столом. Ему так совестно, что хоть сквозь землю провалиться. Совестно своих отрепий, совестно своих грязных рук, совестно всего себя, оборванного, пьяного, скверного. Обжигаясь, ест он дьявольски горячие, заплывшие жиром щи, проливает на скатерть и, хотя хозяйка деликатно делает вид, что не замечает этого, конфузится и больше проливает. Так невыносимо дрожат эти заскорузлые пальцы с большими грязными ногтями, которые впервые заметил у себя Гараська,

– Иван Акиндиныч, а что же ты Ванятке-то... сюрпризец? – спрашивает Марья.

– Не надо, потом... – отвечает торопливо Баргамот. Он обжигается щами, дует на ложку и солидно обтирает усы, – но сквозь эту солидность сквозит то же изумление, что и у Гараськи.

– Кушайте, кушайте, – потчует Марья. – Герасим... как звать вас по батюшке?

– Андреич.

– Кушайте, Герасим Андреич.

Гараська старается проглотить, давится и, бросив ложку, падает головой на стол прямо на сальное пятно, только что им произведенное. Из груди его вырывается снова тот жалобный и грубый вой, который так смутил Баргамота. Детишки, уже переставшие было обращать внимание на гостя, бросают свои ложки и диском присоединяются к его тенору. Баргамот с растерянной и жалкою миной смотрит на жену.

– Ну, чего вы, Герасим Андреич! Перестаньте, – успокаивает та беспокойного гостя.

– По отчеству... Как родился, никто по отчеству... не называл...

1898 г.

Петька на даче

Осип Абрамович, парикмахер, поправил на груди посетителя грязную простынку, заткнул ее пальцами за ворот и крикнул отрывисто и резко:

– Мальчик, воды!

Посетитель, рассматривавший в зеркало свою физиономию с тою обостренною внимательностью и интересом, какие являются только в парикмахерской, замечал, что у него на подбородке прибавился еще один угорь, и с неудовольствием отводил глаза, попадавшие прямо на худую, маленькую ручонку, которая откуда-то со стороны протягивалась к подзеркальнику и ставила жестянку с горячей водой. Когда он поднимал глаза выше, то видел отражение парикмахера, странное и как будто косое, и подмечал быстрый и грозный взгляд, который тот бросал вниз на чью-то голову, и безмолвное движение его губ от неслышного, но выразительного шепота. Если его брил не сам хозяин Осип Абрамович, а кто-нибудь из подмастерьев, Прокопий или Михаила, то шепот становился громким и принимал форму неопределенной угрозы:

– Вот, погоди!

Это значило, что мальчик недостаточно быстро подал воду и его ждет наказание. «Так их и следует», – думал посетитель, кривя голову набок и созерцая у самого своего носа большую потную руку, у которой три пальца были оттопырены, а два другие, липкие и пахучие, нежно прикасались к щеке и подбородку, пока туповатая бритва с неприятным скрипом снимала мыльную пену и жесткую щетину бороды.

В этой парикмахерской, пропитанной скучным запахом дешевых духов, полной надоедливых мух и грязи, посетитель был нетребовательный: швейцары, приказчики, иногда мелкие служащие или рабочие, часто аляповато-красивые, но подозрительные молодцы, с румяными щеками, тоненькими усиками и наглыми маслянистыми глазками. Невдалеке находился квартал, заполненный домами дешевого разврата. Они господствовали над этою местностью и придавали ей особый характер чего-то грязного, беспорядочного и тревожного.

Мальчик, на которого чаще всего кричали, назывался Петькой и был самым маленьким из всех служащих в заведении. Другой мальчик, Николка, насчитывал от роду тремя годами больше и скоро должен был перейти в подмастерья. Уже и теперь, когда в парикмахерскую заглядывал посетитель попроще, а подмастерья, в отсутствие хозяина, ленились работать, они посылали Николку стричь и смеялись, что ему приходится подниматься на цыпочки, чтобы видеть волосатый затылок дюжего дворника. Иногда посетитель обижался за испорченные волосы и поднимал крик, тогда и подмастерья кричали на Николку, но не всерьез, а только для удовольствия окорна-ченного простака. Но такие случаи бывали редко, и Николка важничал и держался, как большой: курил папиросы, сплевывал через зубы, ругался скверными словами и даже хвастался Петьке, что пил водку, но, вероятно, врал. Вместе с подмастерьями он бегал на соседнюю улицу посмотреть на крупную драку, и когда возвращался оттуда, счастливый и смеющийся, Осип Абрамович давал ему две пощечины: по одной на каждую щеку.

Петьке было десять лет; он не курил, не пил водки и не ругался, хотя знал очень много скверных слов, и во всех этих отношениях завидовал товарищу. Когда не было посетителей и Прокопий, проводивший где-то бессонные ночи и днем спотыкавшийся от желания спать, приваливался в темном углу за перегородкой, а Михаила читал «Московский листок» и среди описания краж и грабежей искал знакомого имени кого-нибудь из обычных посетителей, – Петька и Николка беседовали. Последний всегда становился добрее, оставаясь вдвоем, и объяснял «мальчику», что значит стричь под польку, бобриком или с пробором.

Иногда они садились на окно, рядом с восковым бюстом женщины, у которой были розовые щеки, стеклянные удивленные глаза и редкие прямые ресницы, – и смотрели на бульвар, где жизнь начиналась с раннего утра. Деревья бульвара, серые от пыли, неподвижно млели под

горячим, безжалостным солнцем и давали такую же серую, не охлаждающую тень. На всех скамейках сидели мужчины и женщины, грязно и странно одетые, без платков и шапок, как будто они тут и жили и у них не было другого дома. Были лица равнодушные, злые или распушенные, но на всех на них лежала печать крайнего утомления и пренебрежения к окружающему. Часто чья-нибудь лохматая голова бессильно клонилась на плечо, и тело невольно искало простора для сна, как у третьеклассного пассажира, проехавшего тысячи верст без отдыха, но лечь было негде. По дорожкам расхаживал с палкой ярко-синий сторож и смотрел, чтобы кто-нибудь не развалился на скамейке или не бросился на траву, порывшую от солнца, но такую мягкую, такую прохладную. Женщины, всегда одетые более чисто, даже с намеком на моду, были все как будто на одно лицо и одного возраста, хотя иногда попадались совсем старые или молоденькие, почти дети. Все они говорили хриплыми, резкими голосами, бранились, обнимали мужчин так просто, как будто были на бульваре совсем одни, иногда тут же пили водку и закусывали. Случалось, пьяный мужчина бил такую же пьяную женщину; она падала, поднималась и снова падала; но никто не вступался за нее. Зубы весело скалились, лица становились осмысленнее и живее, около дерущихся собиралась толпа; но когда приближался ярко-синий сторож, все лениво разбрелось по своим местам. И только побитая женщина плакала и бессмысленно ругалась; ее растрепанные волосы волочились по песку, а полуобнаженное тело, грязное и желтое при дневном свете, цинично и жалко выставлялось наружу. Ее усаживали на дно извозчицей пролетки и везли, и свесившаяся голова ее болталась, как у мертвой.

Николка знал по именам многих женщин и мужчин, рассказывал о них Петьке грязные истории и смеялся, скаля острые зубы. А Петька изумлялся тому, какой он умный и бесстрашный, и думал, что когда-нибудь и он будет такой же. Но пока ему хотелось бы куда-нибудь в другое место... Очень хотелось бы.

Петькины дни тянулись удивительно однообразно и похоже один на другой, как два родные брата. И зимою и летом он видел все те же зеркала, из которых одно было с трещиной, а другое было кривое и потешное. На запятнанной стене висела одна и та же картина, изображавшая двух голых женщин на берегу моря, и только их розовые тела становились все пестрее от мушиных следов, да увеличивалась черная копоть над тем местом, где зимою чуть ли не весь день горела керосиновая лампа-молния. И утром, и вечером, и весь божий день над Петькой висел один и тот же отрывистый крик: «Мальчик, воды», и он все подавал ее, все подавал. Праздников не было. По воскресеньям, когда улицу переставали освещать окна магазинов и лавок, парикмахерская до поздней ночи бросала на мостовую яркий сноп света, и прохожий видел маленькую, худую фигурку, сгорбившуюся в углу на своем стуле и погруженную не то в думы, не то в тяжелую дремоту. Петька спал много, но ему почему-то все хотелось спать, и часто казалось, что все вокруг него не правда, а длинный неприятный сон. Он часто разливал воду или не слышал резкого крика: «Мальчик, воды», и все худел, а на стриженной голове у него пошли нехорошие струпья. Даже нетребовательные посетители с безразличностью смотрели на этого худенького, веснушчатого мальчика, у которого глаза всегда сонные, рот полуоткрытый и грязные-прегрязные руки и шея. Около глаз и под носом у него прорезались тоненькие морщинки, точно проведенные острой иглой, и делали его похожим на состарившегося карлика.

Петька не знал, скучно ему или весело, но ему хотелось в другое место, о котором он ничего не мог сказать, где оно и какое оно. Когда его навещала мать, кухарка Надежда, он лениво ел принесенные сласти, не жаловался и только просил взять его отсюда. Но затем он забывал о своей просьбе, равнодушно прощался с матерью и не спрашивал, когда она придет опять. А Надежда с горем думала, что у нее один сын – и тот дурачок.

Много ли, мало ли жил Петька таким образом, он не знал. Но вот однажды в обед приехала мать, поговорила с Осипом Абрамовичем и сказала, что его, Петьку, отпускают на дачу, в Царицыно, где живут ее господа. Сперва Петька не понял, потом лицо его покрылось тонкими морщинками от тихого смеха, и он начал торопить Надежду. Той нужно было, ради пристой-

ности, поговорить с Осипом Абрамовичем о здоровье его жены, а Петька тихонько толкал ее к двери и дергал за руку. Он не знал, что такое дача, но полагал, что она есть то самое место, куда он так стремился. И он эгоистично позабыл о Николке, который, заложив руки в карманы, стоял тут же и старался с обычной дерзостью смотреть на Надежду. Но в глазах его вместо дерзости светилась глубокая тоска: у него совсем не было матери, и он в этот момент был бы не прочь даже от такой, как эта толстая Надежда. Дело в том, что и он никогда не был на даче.

Вокзал с его разногласиями сутолокою, грохотом приходящих поездов, свистками паровозов, то густыми и сердитыми, как голос Осипа Абрамовича, то визгливыми и тоненькими, как голос его больной жены, торопливыми пассажирами, которые все идут и идут, точно им и конца нету, – впервые предстал перед оторопелыми глазами Петьки и наполнил его чувством возбужденности и нетерпения. Вместе с матерью он боялся опоздать, хотя до отхода дачного поезда оставалось добрых полчаса; а когда они сели в вагон и поехали, Петька прилип к окну, и только стриженная голова его вертелась на тонкой шее, как на металлическом стержне.

Он родился и вырос в городе, в поле был первый раз в своей жизни, и все здесь для него было поразительно ново и странно: и то, что можно видеть так далеко, что лес кажется травкой, и небо, бывшее в этом новом мире удивительно ясным и широким, точно с крыши смотришь. Петька видел его с своей стороны, а когда оборачивался к матери, это же небо голубело в противоположном окне, и по нем плыли, как ангелочки, беленькие радостные облачка. Петька то вертелся у своего окна, то перебежал на другую сторону вагона, с доверчивостью кладя плохо отмытую ручонку на плечи и колени незнакомых пассажиров, отвечавших ему улыбками. Но какой-то господин, читавший газету и все время зевавший, то ли от чрезмерной усталости, то ли от скуки, раза два неприязненно покосился на мальчика, и Надежда поспешила извиниться:

– Впервой по чугунке едет – интересуется...

– Угу!.. – пробурчал господин и уткнулся в газету.

Надежде очень хотелось рассказать ему, что Петька уже три года живет у парикмахера и тот обещал поставить его на ноги, и это будет очень хорошо, потому что женщина она одинокая и слабая и другой поддержки на случай болезни или старости у нее нет. Но лицо у господина было злое, и Надежда только подумала все это про себя.

Направо от пути раскинулась кочковатая равнина, темно-зеленая от постоянной сырости, и на краю ее были брошены серенькие домики, похожие на игрушечные, а на высокой зеленой горе, внизу которой блистала серебристая полоска, стояла такая же игрушечная белая церковь. Когда поезд со звонким металлическим лязгом, внезапно усилившимся, взлетел на мост и точно повис в воздухе над зеркальной гладью реки, Петька даже вздрогнул от испуга и неожиданности и отшатнулся от окна, но сейчас же вернулся к нему, боясь потерять малейшую подробность пути. Глаза Петькины давно уже перестали казаться сонными, и морщинки пропали. Как будто по этому лицу кто-нибудь провел горячим утюгом, разгладил морщинки и сделал его белым и блестящим.

В первые два дня Петькина пребывания на даче богатство и сила новых впечатлений, лившихся на него и сверху и снизу, смяли его маленькую и робкую душонку. В противоположность дикарям минувших веков, терявшимся при переходе из пустыни в город, этот современный дикарь, выхваченный из каменных объятий городских громад, чувствовал себя слабым и беспомощным перед лицом природы. Все здесь было для него живым, чувствующим и имеющим волю. Он боялся леса, который покойно шумел над его головой и был темный, задумчивый и такой страшный в своей бесконечности; полянки, светлые, зеленые, веселые, точно поющие всеми своими яркими цветами, он любил и хотел бы приласкать их, как сестер, а темно-синее небо звало его к себе и смеялось, как мать. Петька волновался, вздрагивал и бледнел, улыбался чему-то и степенно, как старик, гулял по опушке и лесистому берегу пруда. Тут он, утомленный, задыхающийся, разваливался на густой сыроватой траве и утопал в ней; только его маленький веснушчатый носик поднимался над зеленой поверхностью. В первые

дни он часто возвращался к матери, терся возле нее, и когда барин спрашивал его, хорошо ли на даче, – конфузливо улыбался и отвечал;

– Хорошо!..

И потом снова шел к грозному лесу и тихой воде и будто допрашивал их о чем-то.

Но прошло еще два дня, и Петька вступил в полное соглашение с природой. Это произошло при содействии гимназиста Мити из Старого Царицына. У гимназиста Мити лицо было смугло-желтым, как вагон второго класса, волосы на макушке стояли торчком и были совсем белые – так выжгло их солнце. Он ловил в пруде рыбу, когда Петька увидел его, бесцеремонно вступил с ним в беседу и удивительно скоро сошелся. Он дал Петьке подержать одну удочку и потом повел его куда-то далеко купаться. Петька очень боялся идти в воду, но когда вошел, то не хотел вылезать из нее и делал вид, что плавает: поднимал нос и брови кверху, захлебывался и бил по воде руками, поднимая брызги. В эти минуты он был очень похож на щенка, впервые попавшего в воду. Когда Петька оделся, то был синий от холода, как мертвец, и, разговаривая, ляскал зубами. По предложению того же Мити, неистощимого на выдумки, они исследовали развалины дворца; лазали на заросшую деревьями крышу и бродили среди разрушенных стен громадного здания. Там было очень хорошо: всюду навалены груды камней, на которые с трудом можно взобраться, и промеж них растет молодая рябина и березки, тишина стоит мертвая, и чудится, что вот-вот выскочит кто-нибудь из-за угла или в растрескавшейся амбразуре окна покажется страшная-престрашная рожа. Постепенно Петька почувствовал себя на даче как дома и совсем забыл, что на свете существует Осип Абрамович и парикмахерская.

– Смотри-ка, растолстел как! Чистый купец! – радовалась Надежда, сама толстая и красная от кухонного жара, как медный самовар. Она приписывала это тому, что много его кормит. Но Петька ел совсем мало, не потому, чтобы ему не хотелось есть, а некогда было возиться: если бы можно было не жевать, глотать сразу, а то нужно жевать, а в промежутки болтать ногами, так как Надежда ест дьявольски медленно, обглаживает кости, утирается передником и разговаривает о пустяках. А у него дела было по горло: нужно пять раз выкупаться, вырезать в орешнике удочку, накопать червей, – на все это требуется время. Теперь Петька бегал босой, и это в тысячу раз приятнее, чем в сапогах с толстыми подошвами: шершавая земля так ласково то жжёт, то холодит ногу Свою подержанную гимназическую куртку, в которой он казался солидным мастером парикмахерского цеха, он также снял и изумительно помолодел. Надевал он ее только вечерами, когда ходил на плотину смотреть, как катаются на лодках господа: нарядные, веселые, они со смехом садятся в качающуюся лодку, и та медленно рассекает зеркальную воду, а отраженные деревья колеблются, точно по ним пробежал ветерок.

В исходе недели барин привез из города письмо, адресованное «куфарке Надежде», и когда прочел его адресату, адресат заплакал и размазал по всему лицу сажу, которая была на переднике. По отрывочным словам, сопровождавшим эту операцию, можно было понять, что речь идет о Петьке. Это было уже ввечеру, Петька на заднем дворе играл сам с собою в «классики» и надувал щеки, потому что так прыгать было значительно легче. Гимназист Митя научил этому глупому, но интересному занятию, и теперь Петька, как истый спортсмен, совершенствовался в одиночку. Вышел барин и, положив руку на плечо, сказал:

– Что, брат, ехать надо!

Петька конфузливо улыбался и молчал.

«Вот чудак-то!» – подумал барин.

– Ехать, братец, надо.

Петька улыбался. Подошла Надежда и со слезами подтвердила:

– Надобно ехать, сынок!

– Куда? – удивился Петька.

Про город он забыл, а другое место, куда ему всегда хотелось уйти, – уже найдено.

– К хозяину Осипу Абрамовичу.

Петька продолжал не понимать, хотя дело было ясно как божий день. Но во рту у него пересохло и язык двигался с трудом, когда он спросил:

– А как же завтра рыбу ловить? Удочка – вот она...

– Что же поделаешь!.. Требуется. Прокопий, говорит, заболел, в больницу свезли. Народу, говорит, нету. Ты не плачь: гляди, опять отпустит, – он добрый, Осип Абрамович.

Но Петька и не думал плакать и все не понимал. С одной стороны был факт – удочка, с другой призрак – Осип Абрамович. Но постепенно мысли Петькины стали проясняться, и произошло странное перемещение: фактом стал Осип Абрамович, а удочка, еще не успевшая высохнуть, превратилась в призрак. И тогда Петька удивил мать, расстроил барыню и барина и удивился бы сам, если бы был способен к самоанализу: он не просто заплакал, как плачут городские дети, худые и истощенные, – он закричал громче самого горластого мужика и начал кататься по земле, как те пьяные женщины на бульваре. Худая ручонка его сжималась в кулак и била по руке матери, по земле, по чем попало, чувствуя боль от острых камешков и песчинок, но как будто стараясь еще усилить ее.

Своевременно Петька успокоился, и барин говорил барыне, которая стояла перед зеркалом и вкалывала в волосы белую розу:

– Вот видишь, перестал, – детское горе непродолжительно.

– Но мне всё-таки очень жаль этого бедного мальчика.

– Правда, они живут в ужасных условиях, но есть люди, которым живется и хуже. Ты готова?

И они пошли в сад Дипмана, где в этот вечер были назначены танцы и уже играла военная музыка.

На другой день, с семичасовым утренним поездом, Петька уже ехал в Москву. Опять перед ним мелькали зеленые поля, седые от ночной росы, но только убежали не в ту сторону, что раньше, а в противоположную. Подержанная гимназическая курточка облекала его худенькое тело, из-за ворота ее выставлялся кончик белого бумажного воротничка. Петька не вертелся и почти не смотрел в окно, а сидел такой тихонький и скромный, и ручонки его были благонаравно сложены на коленях. Глаза были сонливы и апатичны, тонкие морщинки, как у старого человека, ютились около глаз и под носом. Вот замелькали у окна столбы и стропила платформы, и поезд остановился.

Толкаясь среди торопившихся пассажиров, они вышли на грохочущую улицу, и большой жадный город равнодушно поглотил свою маленькую жертву.

– Ты удочку спрячь! – сказал Петька, когда мать довела его до порога парикмахерской.

– Спрячу, сынок, спрячу! Может, еще приедешь.

И снова в грязной и душной парикмахерской звучало отрывистое: «Мальчик, воды», и посетитель видел, как к подзеркальнику протягивалась маленькая грязная рука, и слышал неопределенно угрожающий шепот: «Вот, погоди!» Это значило, что сонливый мальчик разлил воду или перепутал приказания. А по ночам, в том месте, где спали рядом Николка и Петька, звенел и волновался тихий голосок и рассказывал о даче, и говорил о том, чего не бывает, чего никто не видел никогда и не слышал. В наступавшем молчании слышалось неровное дыхание детских грудей, и другой голос, не по-детски грубый и энергичный, произносил:

– Вот черти! Чтоб им повылазило!

– Кто черти?

– Да так... Все.

Мимо проезжал обоз и своим мощным гроыханием заглушал голоса мальчиков и тот отдаленный жалобный крик, который уже давно доносился с бульвара: там пьяный мужчина бил такую же пьяную женщину.

Сентябрь 1899 г.

Ангелочек

I

Временами Сашке хотелось перестать делать то, что называется жизнью: не умываться по утрам холодной водой, в которой плавают тоненькие пластинки льда, не ходить в гимназию, не слушать там, как все его ругают, и не испытывать боли в пояснице и во всем теле, когда мать ставит его на целый вечер на колени. Но так как ему было тринадцать лет и он не знал всех способов, какими люди перестают жить, когда захотят этого, то он продолжал ходить в гимназию и стоять на коленках, и ему казалось, что жизнь никогда не кончится. Пройдет год, и еще год, и еще год, а он будет ходить в гимназию и стоять дома на коленках. И так как Сашка обладал непокорной и смелой душой, то он не мог спокойно отнестись ко злу и мстил жизни. Для этой цели он бил товарищей, грубил начальству, рвал учебники и целый день лгал то учителям, то матери, не лгал он только одному отцу. Когда в драке ему расшибали нос, он нарочно расковыривал его еще больше и орал без слез, но так громко, что все испытывали неприятное ощущение, морщились и затыкали уши. Проорав сколько нужно, он сразу умолкал, показывал язык и рисовал в черновой тетрадке карикатуру на себя, как орет, на надзирателя, заткнувшего уши, и на дрожащего от страха победителя. Вся тетрадка заполнена была карикатурами, и чаще всех повторялась такая: толстая и низенькая женщина была скалкой тонкого, как спичка, мальчика. Внизу крупными и неровными буквами чернела подпись: «Проси прощенья, щенок», – и ответ: «Не попрошу, хоть тресни».

Перед рождением Сашку выгнали из гимназии, и когда мать стала бить его, он укусил ее за палец. Это дало ему свободу, и он бросил умываться по утрам, бегал целый день с ребятами и бил их, и боялся одного голода, так как мать перестала совсем кормить его, и только отец прятал для него хлеб и картошку. При этих условиях Сашка находил существование возможным.

В пятницу, накануне рождества, Сашка играл с ребятами, пока они не разошлись по домам и не проскрипела ржавым, морозным скрипом калитка за последним из них. Уже темно, и с поля, куда выходил одним концом глухой переулок, надвигалась серая снежная мгла; в низеньком черном строении, стоявшем поперек улицы, на выезде, зажегся красноватый, немигающий огонек. Мороз усилился, и когда Сашка проходил в светлом круге, который образовался от зажженного фонаря, он видел медленно реявшие в воздухе маленькие сухие снежинки. Приходилось идти домой.

– Где полуночицаешь, щенок? – крикнула на него мать, замахнулась кулаком, но не ударила. Рукава у нее были засучены, обнажая белые, толстые руки, и на безбровом, плоском лице выступали капли пота. Когда Сашка проходил мимо нее, он почувствовал знакомый запах водки. Мать почесала в голове толстым указательным пальцем с коротким и грязным ногтем и, так как браниться было некогда, только плюнула и крикнула:

– Статистики, одно слово!

Сашка презрительно шморгнул носом и прошел за перегородку, где слышалось тяжелое дыхание отца, Ивана Саввича. Ему всегда было холодно, и он старался согреться, сидя на раскаленной лежанке и подкладывая под себя руки ладонями книзу.

– Сашка! А тебя Свечниковы на елку звали. Горничная приходила, – прошептал он.

– Врешь? – спросил с недоверием Сашка.

– Ей-богу. Эта ведьма нарочно ничего не говорит, а уж и куртку приготовила.

– Врешь? – все больше удивлялся Сашка.

Богачи Свечниковы, определившие его в гимназию, не велели после его исключения показываться к ним. Отец еще раз побожился, и Сашка задумался.

– Ну-ка подвинься, расселся! – сказал он отцу, прыгая на коротенькую лежанку, и добавил: – А к этим чертям я не пойду. Жирны больно станут, если еще я к ним пойду. «Испорченный мальчик», – протянул Сашка в нос. – Сами хороши, антипы толсторожие.

– Ах, Сашка, Сашка! – поежился от холода отец. – Не сносить тебе головы.

– А ты-то сносишь? – грубо возразил Сашка. – Молчал бы уж: бабы боится. Эх, тюря!

Отец сидел молча и ежился. Слабый свет проникал через широкую щель вверху, где перегородка на четверть не доходила до потолка, и светлым пятном ложился на его высокий лоб, под которым чернели глубокие глазные впадины. Когда-то Иван Саввич сильно пил водку, и тогда жена боялась и ненавидела его. Но когда он начал харкать кровью и не мог больше пить, стала пить она, постепенно привыкая к водке. И тогда она выместила все, что ей пришлось выстрадать от высокого узкогрудого человека, который говорил непонятные слова, выгонялся за строптивость и пьянство со службы и наводил к себе таких же длинноволосых безобразников и гордецов, как и он сам. В противоположность мужу она здоровела по мере того, как пила, и кулаки ее все тяжелели. Теперь она говорила, что хотела, теперь она водила к себе мужчин и женщин, каких хотела, и громко пела с ними веселые песни. А он лежал за перегородкой, молчаливый, съжившийся от постоянного озноба, и думал о несправедливости и ужасе человеческой жизни. И всем, с кем ни приходилось говорить жене Ивана Саввича, она жаловалась, что нет у нее на свете таких врагов, как муж и сын: оба гордецы и статистики.

Через час мать говорила Сашке:

– А я тебе говорю, что ты пойдешь! – И при каждом слове Феокиста Петровна ударяла кулаком по столу, на котором вымытые стаканы прыгали и звякали друг о друга.

– А я тебе говорю, что не пойду, – хладнокровно отвечал Сашка, и углы губ его подергивались от желания оскалить зубы. В гимназии за эту привычку его звали волчонком.

– Изобью я тебя, ох как изобью! – кричала мать,

– Что же, избеи!

Феокиста Петровна знала, что бить сына, который стал кусаться, она уже не может, а если выгнать на улицу, то он отправится шататься и скорей замерзнет, чем пойдет к Свечниковым; поэтому она прибегла к авторитету мужа.

– А еще отец называется: не может мать от оскорблений оберечь.

– Правда, Сашка, ступай, что ломаешься? – отозвался тот с лежанки. – Они, может быть, опять тебя устроят. Они люди добрые.

Сашка оскорбительно усмехнулся. Отец давно, до Сашкина еще рождения, был учителем у Свечниковых и с тех пор думал, что они самые хорошие люди. Тогда он еще служил в земской статистике и ничего не пил. Разошелся он с ними после того, как женился на забеременевшей от него дочери квартирной хозяйки, стал пить и опустился до такой степени, что его пьяного поднимали на улице и отвозили в участок. Но Свечниковы продолжали помогать ему деньгами, и Феокиста Петровна, хотя ненавидела их, как книги и все, что связывалось с прошлым ее мужа, дорожила знакомством и хвалилась им.

– Может быть, и мне что-нибудь с елки принесешь, – продолжал отец.

Он хитрил, – Сашка понимал это и презирал отца за слабость и ложь, но ему действительно захотелось что-нибудь принести больному и жалкому человеку. Он давно уже сидит без хорошего табаку.

– Ну, ладно! – буркнул он. – Давай, что ли, куртку. Пуговицы пришила? А то ведь я тебя знаю!

II

Детей еще не пускали в залу, где находилась елка, и они сидели в детской и болтали. Сашка с презрительным высокомерием прислушивался к их наивным речам и ощупывал в кармане брюк уже переломавшиеся папиросы, которые удалось ему стащить из кабинета хозяина. Тут подошел к нему самый маленький Свечников, Коля, и остановился неподвижно и с видом изумления, составив ноги носками внутрь и положив палец на угол пухлых губ. Месяцев шесть тому назад он бросил, по настоянию родственников, скверную привычку класть палец в рот, но совершенно отказаться от этого жеста еще не мог. У него были белые волосы, подрезанные на лбу и завитками спадавшие на плечи, и голубые удивленные глаза, и по всему своему виду он принадлежал к мальчикам, которых особенно преследовал Сашка.

– Ты неблагодалный мальчик? – спросил он Сашку. – Мне мисс сказала. А я холосой.

– Уж на что же лучше! – ответил тот, осматривая коротенькие бархатные штанишки и большой отхладной воротничок.

– Хочешь лузье? На! – протянул мальчик ружье с привязанной к нему пробкой.

Волчонок взвел пружину и, прицелившись в нос ничего не подозревавшего Коли, дернул собачку. Пробка ударилась по носу и отскочила, болтаясь на нитке. Голубые глаза Коли раскрылись еще шире, и в них показались слезы. Передвинув палец от губ к покрасневшему носику, Коля часто заморгал длинными ресницами и зашептал:

– Злой... Злой мальчик.

В детскую вошла молодая, красивая женщина с гладко зачесанными волосами, скрывавшими часть ушей. Это была сестра хозяйки, та самая, с которой занимался когда-то Сашкин отец.

– Вот этот, – сказала она, показывая на Сашку сопровождавшему ее лысому господину. – Поклонись же, Саша, нехорошо быть таким невежливым.

Но Сашка не поклонился ни ей, ни лысому господину. Красивая дама не подозревала, что он знает многое. Знает, что жалкий отец его любил ее, а она вышла за другого, и хотя это случилось после того как он женился сам, Сашка не мог простить измены.

– Дурная кровь, – вздохнула Софья Дмитриевна. – Вот не можете ли, Платон Михайлович, устроить его? Муж говорит, что ремесленное ему больше подходит, чем гимназия. Саша, хочешь в ремесленное?

– Не хочу, – коротко ответил Сашка, слышавший слово «муж».

– Что же, братец, в пастухи хочешь? – спросил господин.

– Нет, не в пастухи, – обиделся Сашка.

– Так куда же?

Сашка не знал, куда он хочет,

– Мне все равно, – ответил он, подумав, – хоть и в пастухи.

Лысый господин с недоумением рассматривал странного мальчика. Когда с заплатанных сапог он перевел глаза на лицо Сашки, последний высунул язык и опять спрятал его так быстро, что Софья Дмитриевна ничего не заметила, а пожилой господин пришел в непонятное ей раздражительное состояние.

– Я хочу и в ремесленное, – скромно сказал Сашка.

Красивая дама обрадовалась и подумала, вздохнув, о той силе, какую имеет над людьми старая любовь.

– Но едва ли вакансия найдется, – сухо заметил пожилой господин, избегая смотреть на Сашку и приглаживая поднявшиеся на затылке волосики. – Впрочем, мы еще посмотрим.

Дети волновались и шумели, нетерпеливо ожидая елки. Опыт с ружьем, проделанный мальчиком, внушавшим к себе уважение ростом и репутацией испорченного, нашел себе под-

ражателей, и несколько кругленьких носиков уже покраснело. Девочки смеялись, прижимая обе руки к груди и перегибаясь, когда их рыцари, с презрением к страху и боли, но морщась от ожидания получали удары пробкой. Но вот открылись двери, и чей-то голос сказал:

– Дети, идите! Тише, тише!

Заранее вытаращив глазенки и затаив дыхание, дети чинно, по паре, входили в ярко освещенную залу и тихо обходили сверкающую елку. Она бросала сильный свет, без теней, на их лица с округлившимися глазами и губками. Минуту царила тишина глубокого очарования, сразу сменившаяся хором восторженных восклицаний. Одна из девочек не в силах была овладеть охватившим ее восторгом и упорно и молча прыгала на одном месте; маленькая косичка со вплетенной голубой ленточкой хлопала по ее плечам. Сашка был угрюм и печален, – что-то нехорошее творилось в его маленьком изъязвленном сердце. Елка ослепляла его своей красотой и крикливым, наглым блеском бесчисленных свечей, но она была чуждой ему, враждебной, как и столпившиеся вокруг нее чистенькие, красивые дети, и ему хотелось толкнуть ее так, чтобы она повалилась на эти светлые головки. Казалось, что чьи-то железные руки взяли его сердце и выжимают из него последнюю каплю крови. Забившись за рояль, Сашка сел там в углу, бессознательно доламывал в кармане последние папиросы и думал, что у него есть отец, мать, свой дом, а выходит так, как будто ничего этого нет и ему некуда идти. Он пытался представить себе перочинный ножичек, который он недавно выменял и очень сильно любил, но ножичек стал очень плохой, с тоненьким сточенным лезвием и только с половиной желтой костяшки. Завтра он сломает ножичек, и тогда у него уже ничего не останется.

Но вдруг узенькие глаза Сашки блеснули изумлением, и лицо мгновенно приняло обычное выражение дерзости и самоуверенности. На обращенной к нему стороне елки, которая была освещена слабее других и составляла ее изнанку, он увидел то, чего не хватало в картине его жизни и без чего кругом было так пусто, точно окружающие люди неживые. То был восковой ангелочек, небрежно повешенный в гуще темных ветвей и словно реявший по воздуху. Его прозрачные стрекозиные крылышки трепетали от падавшего на них света, и весь он казался живым и готовым улететь. Розовые ручки с изящно сделанными пальцами протягивались кверху, и за ними тянулась головка с такими же волосами, как у Коли. Но было в ней другое, чего лишено было лицо Коли и все другие лица и вещи. Лицо ангелочка не блистало радостью, не туманилось печалью, но лежала на нем печать иного чувства, не передаваемого словами, не определяемого мыслью и доступного для понимания лишь такому же чувству. Сашка не сознавал, какая тайная сила влекла его к ангелочку, но чувствовал, что он всегда знал его и всегда любил, любил больше, чем перочинный ножичек, больше, чем отца, и больше, чем все остальное. Полный недоумения, тревоги, непонятого восторга, Сашка сложил руки у груди и шептал:

– Милый... милый ангелочек!

И чем внимательнее он смотрел, тем значительнее, важнее становилось выражение ангелочка. Он был бесконечно далек и непохож на все, что его здесь окружало. Другие игрушки как будто гордились тем, что они висят, нарядные, красивые, на этой сверкающей елке, а он был грустен и боялся яркого назойливого света, и нарочно скрылся в темной зелени, чтобы никто не видел его. Было бы безумной жестокостью прикоснуться к его нежным крылышкам.

– Милый... милый! – шептал Сашка.

Голова Сашкина горела. Он заложил руки за спину и в полной готовности к смертельному бою за ангелочка прохаживался осторожными и крадущимися шагами; он не смотрел на ангелочка, чтобы не привлечь на него внимания других, но чувствовал, что он еще здесь, не улетел. В дверях показалась хозяйка – важная высокая дама с светлым ореолом седых, высоко зачесанных волос. Дети окружили ее с выражением своего восторга, а маленькая девочка, та, что прыгала, утомленно повисла у нее на руке и тяжело моргала сонными глазками. Подошел и Сашка. Горло его перехватывало.

– Тетя, а тетя, – сказал он, стараясь говорить ласково, но выходило еще более грубо, чем всегда. – Те... Тетечка...

Она не слыхала, и Сашка нетерпеливо дернул ее за платье.

– Чего тебе? Зачем ты дергаешь меня за платье? – удивилась седая дама. – Это невежливо.

– Те... тетечка. Дай мне одну штуку с елки, – ангелочка.

– Нельзя, – равнодушно ответила хозяйка. – Елку будем на Новый год разбирать. И ты уже не маленький и можешь звать меня по имени, Марьей Дмитриевной.

Сашка чувствовал, что он падает в пропасть, и ухватился за последнее средство.

– Я раскаиваюсь. Я буду учиться, – отрывисто говорил он.

Но эта формула, оказывавшая благотворное влияние на учителей, на седую даму не произвела впечатления.

– И хорошо сделаешь, мой друг, – ответила она так же равнодушно.

Сашка грубо сказал:

– Дай ангелочка.

– Да нельзя же! – говорила хозяйка. – Как ты этого не понимаешь?

Но Сашка не понимал, и когда дама повернулась к выходу, Сашка последовал за ней, бессмысленно глядя на ее черное, шелестящее платье. В его горячечно работавшем мозгу мелькнуло воспоминание, как один гимназист его класса просил учителя поставить тройку, а когда получил отказ, стал перед учителем на колени, сложил руки ладонь к ладони, как на молитве, и заплакал. Тогда учитель рассердился, но тройку всё-таки поставил. Своевременно Сашка увековечил эпизод в карикатуре, но теперь иного средства не оставалось. Сашка дернул тетку за платье и, когда она обернулась, упал со стуком на колени и сложил руки вышеупомянутым способом. Но заплакать не мог.

– Да ты с ума сошел! – воскликнула седая дама и оглянулась; по счастью, в кабинете никого не было. – Что с тобой?

Стоя на коленях, со сложенными руками, Сашка о ненависти посмотрел на нее и грубо потребовал:

– Дай ангелочка!

Глаза Сашкины, впившиеся в седую даму и ловившие на ее губах первое слово, которое они произнесут, были очень нехороши, и хозяйка поспешила ответить:

– Ну, дам, дам. Ах, какой ты глупый! Конечно, я дам тебе, что ты просишь, но почему ты не хочешь подождать до Нового года? Да вставай же! И никогда, – поучительно добавила седая дама, – не становись на колени: это унижает человека. На колени можно становиться только перед Богом.

«Толкуй там», – думал Сашка, стараясь опередить тетку и наступая ей на платье.

Когда она сняла игрушку, Сашка впился в нее глазами, болезненно сморщил нос и растопырил пальцы. Ему казалось, что высокая дама ломает ангелочка.

– Красивая вещь, – сказала дама, которой стало жаль изящной и, по-видимому, дорогой игрушки. – Кто это повесил ее сюда? Ну, послушай, зачем эта игрушка тебе? Ведь ты такой большой, что будешь ты с нею делать?.. Вон там книги есть, с рисунками. А это я обещала Коле отдать, он так просил, – солгала она.

Терзания Сашки становились невыносимыми. Он судорожно стиснул зубы и, показалось, даже скрипнул ими. Седая дама больше всего боялась сцен и потому медленно протянула к Сашке ангелочка.

– Ну, на уж, на, – с неудовольствием сказала она. – Какой настойчивый!

Обе руки Сашки, которыми он взял ангелочка, казались цепкими и напряженными, как две стальные пружины, но такими мягкими и осторожными, что ангелочек мог вообразить себя летящим по воздуху.

– А-ах! – вырвался продолжительный, замирающий вздох из груди Сашки, и на глазах его сверкнули две маленькие слезинки и остановились там, непривычные к свету. Медленно приближая ангелочка к своей груди, он не сводил сияющих глаз с хозяйки и улыбался тихой и кроткой улыбкой, замирая в чувстве неземной радости. Казалось, что когда нежные крылышки ангелочка прикоснутся к впалой груди Сашки, то случится что-то такое радостное, такое светлое, какого никогда еще не происходило на печальной, грешной и страдающей земле.

– А-ах! – пронесся тот же замирающий стон, когда крылышки ангелочка коснулись Сашки. И перед сиянием его лица словно потухла сама нелепо разукрашенная, нагло горящая елка, – и радостно улыбнулась седая, важная дама, и дрогнул сухим лицом лысый господин, и замерли в живом молчании дети, которых коснулось веяние человеческого счастья. И в этот короткий момент все заметили загадочное сходство между неуклюжим, выросшим из своего платья гимназистом и одухотворенным рукой неведомого художника личиком ангелочка.

Но в следующую минуту картина резко изменилась. Съежившись, как готовящаяся к прыжку пантера, Сашка мрачным взглядом обводил окружающих, ища того, кто осмелится отнять у него ангелочка.

– Я домой пойду, – глухо сказал Сашка, намечая путь в толпе. – К отцу.

III

Мать спала, обессилев от целого дня работы и выпитой водки. В маленькой комнатке, за перегородкой, горела на столе кухонная лампочка, и слабый желтоватый свет ее с трудом проникал через закопченное стекло, бросая странные тени на лицо Сашки и его отца.

– Хорош? – спрашивал шепотом Сашка.

Он держал ангелочка в отдалении и не позволял отцу дотрагиваться.

– Да, в нем есть что-то особенное, – шептал отец, задумчиво всматриваясь в игрушку.

Его лицо выражало то же сосредоточенное внимание и радость, как и лицо Сашки.

– Ты погляди, – продолжал отец, – он сейчас полетит.

– Видел уже, – торжествующе ответил Сашка. – Думаешь, слепой? А ты на крылышки глянь. Цыц, не трогай!

Отец отдернул руку и темными глазами изучал подробности ангелочка, пока Саша настаивательно шептал:

– Экая, братец, у тебя привычка скверная за все руками хвататься. Ведь сломать можешь!

На стене вырезывались уродливые и неподвижные тени двух склонившихся голов: одной большой и лохматой, другой маленькой и круглой. В большой голове происходила странная, мучительная, но в то же время радостная работа. Глаза, не мигая, смотрели на ангелочка, и под этим пристальным взглядом он становился больше и светлее, и крылышки его начинали трепетать бесшумным трепетаньем, а все окружающее – бревенчатая, покрытая копотью стена, грязный стол, Сашка, – все это сливалось в одну ровную серую массу, без теней, без света. И чудилось погибшему человеку, что он услышал жалеющий голос из того чудного мира, где он жил когда-то и откуда был навеки изгнан. Там не знают о грязи и унылой брани, о тоскливой, слепо-жестокой борьбе эгоизмов; там не знают о муках человека, поднимаемого со смехом на улице, избиваемого грубыми руками сторожей. Там чисто, радостно и светло, и все это чистое нашло приют в душе ее, той, которую он любил больше жизни и потерял, сохранив ненужную жизнь. К запаху воска, шедшему от игрушки, примешивался неуловимый аромат, и чудилось погибшему человеку, как прикасались к ангелочку ее дорогие пальцы, которые он хотел бы целовать по одному и так долго, пока смерть не сомкнет его уста навсегда. Оттого и была так красива эта игрушечка, оттого и было в ней что-то особенное, влекущее к себе, не передаваемое словами. Ангелочек спустился с неба, на котором была ее душа, и внес луч света

в сырую, пропитанную чадом комнату и в черную душу человека, у которого было отнято все: и любовь, и счастье, и жизнь.

И рядом с глазами отжившего человека сверкали глаза начинающего жить и ласкали ангелочка. И для них исчезло настоящее и будущее: и вечно печальный и жалкий отец, и грубая, невыносимая мать, и черный мрак обид, жестокостей, унижений и злобствующей тоски. Бесформенны, туманны были мечты Сашки, но тем глубже волновали они его смятенную душу. Все добро, сияющее над миром, все глубокое горе и надежду тоскующей о Боге души впитал в себя ангелочек, и оттого он горел таким мягким божественным светом, оттого трепетали бесшумным трепетаньем его прозрачные стрекозиные крылышки.

Отец и сын не видели друг друга; по-разному тосковали, плакали и радовались их больные сердца, но было что-то в их чувстве, что сливало воедино сердца и уничтожало бездонную пропасть, которая отделяет человека от человека и делает его таким одиноким, несчастным и слабым. Отец несознательным движением положил руку на шею сына, и голова последнего так же невольно прижалась к чахоточной груди.

– Это она дала тебе? – прошептал отец, не отводя глаз от ангелочка.

В другое время Сашка ответил бы грубым отрицанием, но теперь в душе его сам собой прозвучал ответ, и уста спокойно произнесли заведомую ложь.

– А то кто же? Конечно, она.

Отец молчал; замолк и Сашка. Что-то захрипело в соседней комнате, затрещало, на миг стихло, и часы бойко и торопливо отчеканили: час, два, три.

– Сашка, ты видишь когда-нибудь сны? – задумчиво спросил отец.

– Нет, – сознался Сашка. – А, нет, раз видел: с крыши упал. За голубями лазили, я и сорвался.

– А я постоянно вижу. Чудные бывают сны. Видишь все, что было, любишь и страдаешь, как наяву...

Он снова замолк, и Сашка почувствовал, как задрожала рука, лежавшая на его шее. Все сильнее дрожала и дергалась она, и чуткое безмолвие ночи внезапно нарушилось всхлипывающим, жалким звуком сдерживаемого плача. Сашка сурово задвигал бровями и осторожно, чтобы не потревожить тяжелую, дрожащую руку, скovyрнул с глаза слезинку. Так странно было видеть, как плачет большой и старый человек.

– Ах, Саша, Саша! – всхлипывал отец. – Зачем все это?

– Ну, что еще? – сурово прошептал Сашка. – Совсем, ну совсем как маленький.

– Не буду... не буду, – с жалкой улыбкой извинился отец. – Что уж... зачем?

Заворочалась на своей постели Феоктиста Петровна. Она вздохнула и забормотала громко и странно-настойчиво: «Дерюжку держи... держи, держи, держи». Нужно было ложиться спать, но до этого устроить на ночь ангелочка. На земле оставлять его было невозможно; он был повешен на ниточке, прикрепленной к отдушине печки, и отчетливо рисовался на белом фоне кафелей. Так его могли видеть оба – и Сашка и отец. Поспешно набросав в угол всякого тряпья, на котором он спал, отец так же быстро разделся и лег на спину, чтобы поскорее начать смотреть на ангелочка.

– Что же ты не раздеваешься? – спросил отец, зябко кутаясь в прорванное одеяло и поправляя наброшенное на ноги пальто.

– Не к чему. Скоро встану.

Сашка хотел добавить, что ему совсем не хочется спать, но не успел, так как заснул с такой быстротой, точно пошел ко дну глубокой и быстрой реки. Скоро заснул и отец. Кроткий покой и безмятежность легли на истомленное лицо человека, который отжил, и смелое личико человека, который еще только начинал жить.

А ангелочек, повешенный у горячей печки, начал таять. Лампа, оставленная гореть по настоянию Сашки, наполняла комнату запахом керосина и сквозь закопченное стекло бросала

печальный свет на картину медленного разрушения. Ангелочек как будто шевелился. По розовым ножкам его скатывались густые капли и падали на лежанку. К запаху керосина присоединился тяжелый запах топленого воска. Вот ангелочек встрепенулся, словно для полета, и упал с мягким стуком на горячие плиты. Любопытный прусак пробежал, обжигаясь, вокруг бесформенного слитка, взобрался на стрекозиное крылышко и, дернув усиками, побежал дальше.

В завешенное окно пробивался синеватый свет начинающегося дня, и на дворе уже застучал железным черпаком зазябший водовоз.

11–16 ноября 1899 г.

Большой шлем

Они играли в винт три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам; воскресенье было очень удобно для игры, но его пришлось оставить на долю всяким случайностям: приходу посторонних, театру, и поэтому оно считалось самым скучным днем в неделе. Впрочем, летом, на даче, они играли и в воскресенье. Размещались они так: толстый и горячий Масленников играл с Яковом Ивановичем, а Евпраксия Васильевна со своим мрачным братом, Прокопием Васильевичем. Такое распределение установилось давно, лет шесть тому назад, и настояла на нем Евпраксия Васильевна. Дело в том, что для нее и ее брата не представляло никакого интереса играть отдельно, друг против друга, так как в этом случае выигрыш одного был проигрыш для другой, и в окончательном результате они не выигрывали и не проигрывали. И хотя в денежном отношении игра была ничтожная и Евпраксия Васильевна и ее брат в деньгах не нуждались, но она не могла понять удовольствия игры для игры и радовалась, когда выигрывала. Выигранные деньги она откладывала отдельно, в копилку, и они казались ей гораздо важнее и дороже, чем те крупные кредитки, которые приходилось ей платить за дорогую квартиру и выдавать на хозяйство. Для игры собирались у Прокопия Васильевича, так как во всей обширной квартире жили только они вдвоем с сестрой, – существовал еще большой белый кот, но он всегда спал на кресле, – а в комнатах царила необходимая для занятий тишина. Брат Евпраксии Васильевны был вдов: он потерял жену на второй год после свадьбы и целых два месяца после того провел в лечебнице для душевнобольных; сама она была незамужняя, хотя когда-то имела роман со студентом. Никто не знал, да и она, кажется, позабыла, почему ей не пришлось выйти замуж за своего студента, но каждый год, когда появлялось обычное воззвание о помощи нуждающимся студентам, она посылала в комитет аккуратно сложенную сторублевую бумажку «от неизвестной». По возрасту она была самой молодой из игроков: ей было сорок три года.

Вначале, когда создалось распределение на пары, им особенно был недоволен старший из игроков, Масленников. Он возмущался, что ему постоянно придется иметь дело с Яковом Ивановичем, то есть, другими словами, бросить мечту о большом бескозырном шлеме. И вообще они с партнером совершенно не подходили друг к другу. Яков Иванович был маленький, сухонький старичок, зиму и лето ходивший в наваченном сюртуке и брюках, молчаливый и строгий. Являлся он всегда ровно в восемь часов, ни минутой раньше или позже, и сейчас же брал мелок сухими пальцами, на одном из которых свободно ходил большой бриллиантовый перстень. Но самым ужасным для Масленникова в его партнере было то, что он никогда не играл больше четырех, даже тогда, когда на руках у него имелась большая и верная игра. Однажды случилось, что как начал Яков Иванович ходить с двойки, так и отходил до самого туза, взяв все тринадцать взяток. Масленников с гневом бросил свои карты на стол, а седенький старичок спокойно собрал их и записал за игру, сколько следует при четырех.

– Но почему же вы не играли большого шлема? – вскрикнул Николай Дмитриевич (так звали Масленникова).

– Я никогда не играю больше четырех, – сухо ответил старичок и наставительно заметил: – Никогда нельзя знать, что может случиться.

Так и не мог убедить его Николай Дмитриевич. Сам он всегда рисковал и, так как карта ему не шла, постоянно проигрывал, но не отчаивался и думал, что ему удастся отыграться в следующий раз. Постепенно они свыклись со своим положением и не мешали друг другу: Николай Дмитриевич рисковал, а старик спокойно записывал проигрыш и назначал игру в четырех.

Так играли они лето и зиму, весну и осень. Дряхлый мир покорно нес тяжелое ярмо бесконечного существования и то краснел от крови, то обливался слезами, оглашая свой путь

в пространстве стонами больных, голодных и обиженных. Слабые отголоски этой тревожной и чуждой жизни приносил с собой Николай Дмитриевич. Он иногда запаздывал и входил в то время, когда все уже сидели за разложенным столом и карты розовым веером выделялись на его зеленой поверхности.

Николай Дмитриевич, краснощекий, пахнувший свежим воздухом, поспешно занимал свое место против Якова Ивановича, извинялся и говорил:

– Как много гуляющих на бульваре. Так и идут, так и идут...

Евпраксия Васильевна считала себя обязанной, как хозяйка, не замечать странностей своих гостей. Поэтому она отвечала одна, в то время как старичок молча и строго приготавливал мелок, а брат ее распоряжался насчет чая.

– Да, вероятно, – погода хорошая. Но не начать ли нам?

И они начинали. Высокая комната, уничтожавшая звук своей мягкой мебелью и порттьерами, становилась совсем глухой. Горничная неслышно двигалась по пушистому ковру, разнося стаканы с крепким чаем, и только шуршали ее накрахмаленные юбки, скрипел мелок и вздыхал Николай Дмитриевич, поставивший большой ремиз. Для него наливался жиденький чай и ставился особый столик, так как он любил пить с блюдца и непременно с тянучками.

Зимой Николай Дмитриевич сообщал, что днем морозу было десять градусов, а теперь уже дошло до двадцати, а летом говорил:

– Сейчас целая компания в лес пошла. С корзинками.

Евпраксия Васильевна вежливо смотрела на небо – летом они играли на террасе – и, хотя небо было чистое и верхушки сосен золотели, замечала:

– Не было бы дождя.

А старичок Яков Иванович строго раскладывал карты и, вынимая червонную двойку, думал, что Николай Дмитриевич легкомысленный и неисправимый человек. Одно время Масленников сильно обеспокоил своих партнеров. Каждый раз, приходя, он начинал говорить одну или две фразы о Дрейфусе. Делая печальную физиономию, он сообщал:

– А плохи дела нашего Дрейфуса.

Или, наоборот, смеялся и радостно говорил, что несправедливый приговор, вероятно, будет отменен. Потом он стал приносить газеты и прочитывал из них некоторые места все о том же Дрейфусе.

– Читали уже, – сухо говорил Яков Иванович, но партнер не слушал его и прочитывал, что казалось ему интересным и важным. Однажды он таким образом довел остальных до спора и чуть ли не до ссоры, так как Евпраксия Васильевна не хотела признавать законного порядка судопроизводства и требовала, чтобы Дрейфуса освободили немедленно, а Яков Иванович и ее брат настаивали на том, что сперва необходимо соблюсти некоторые формальности и потом уже освободить. Первым опомнился Яков Иванович и сказал, указывая на стол:

– Но не пора ли?

И они сели играть, и потом, сколько ни говорил Николай Дмитриевич о Дрейфусе, ему отвечали молчанием.

Так играли они лето и зиму, весну и осень. Иногда случались события, но больше смешного характера. На брата Евпраксии Васильевны временами как будто что-то находило, он не помнил, что говорили о своих картах партнеры, и при верных пяти оставался без одной. Тогда Николай Дмитриевич громко смеялся и преувеличивал значение проигрыша, а старичок улыбался и говорил:

– Играли бы четыре – и были бы при своих.

Особенное волнение проявлялось у всех игроков, когда назначала большую игру Евпраксия Васильевна. Она краснела, терялась, не зная, какую класть ей карту, и с мольбой смотрела на молчаливого брата, а другие двое партнеров с рыцарским сочувствием к ее женственности и беспомощности ободряли ее снисходительными улыбками и терпеливо ожидали. В общем,

однако, к игре относились серьезно и вдумчиво. Карты давно уже потеряли в их глазах значение бездушной материи, и каждая масть, а в масти каждая карта в отдельности, была строго индивидуальна и жила своей обособленной жизнью. Масти были любимые и нелюбимые, счастливые и несчастливые. Карты комбинировались бесконечно разнообразно, и разнообразие это не поддавалось ни анализу, ни правилам, но было в то же время закономерно. И в закономерности этой заключалась жизнь карт, особая от жизни игравших в них людей. Люди хотели и добились от них своего, а карты делали свое, как будто они имели свою волю, свои вкусы, симпатии и капризы. Черви особенно часто приходили к Якову Ивановичу, а у Евпраксии Васильевны руки постоянно полны бывали пик, хотя она их очень не любила. Случалось, что карты капризничали, и Яков Иванович не знал, куда деваться от пик, а Евпраксия Васильевна радовалась червям, назначала большие игры и ремизилась. И тогда карты как будто смеялись. К Николаю Дмитриевичу ходили одинаково все масти, и ни одна не оставалась надолго, и все карты имели такой вид, как постояльцы в гостинице, которые приезжают и уезжают, равнодушные к тому месту, где им пришлось провести несколько дней. Иногда несколько вечеров подряд к нему ходили одни двойки и тройки и имели при этом дерзкий и насмешливый вид. Николай Дмитриевич был уверен, что он оттого не может сыграть большого шлема, что карты знают о его желании и нарочно не идут к нему, чтобы позлить. И он притворялся, что ему совершенно безразлично, какая игра у него будет, и старался подольше не раскрывать прикупа. Очень редко удавалось ему таким образом обмануть карты; обыкновенно они догадывались, и, когда он раскрывал прикуп, откуда смеялись три шестерки и хмуро улыбался пиковый король, которого они затащили для компании.

Меньше всех проникала в таинственную суть карт Евпраксия Васильевна; старичок Яков Иванович давно выработал строго философский взгляд и не удивлялся и не огорчался, имея верное оружие против судьбы в своих четырех. Один Николай Дмитриевич никак не мог примириться с прихотливым нравом карт, их насмешливостью и непостоянством. Ложась спать, он думал о том, как он сыграет большой шлем в бескозырях, и это представлялось таким простым и возможным: вот приходит один туз, за ним король, потом опять туз. Но когда, полный надежды, он садился играть, проклятые шестерки опять скалили свои широкие белые зубы. В этом чувствовалось что-то роковое и злобное. И постепенно большой шлем в бескозырях стал самым сильным желанием и даже мечтой Николая Дмитриевича.

Произошли и другие события вне карточной игры. У Евпраксии Васильевны умер от старости большой белый кот и, с разрешения домовладельца, был похоронен в саду под липой. Затем Николай Дмитриевич исчез однажды на целых две недели, и его партнеры не знали, что думать и что делать, так как винт втроем ломал все установившиеся привычки и казался скучным. Сами карты точно сознавали это и сочетались в непривычных формах. Когда Николай Дмитриевич явился, розовые щеки, которые так резко отделялись от седых пушистых волос, посерели, и весь он стал меньше и ниже ростом. Он сообщил, что его старшин сын за что-то арестован и отправлен в Петербург. Все удивились, так как не знали, что у Масленникова есть сын; может быть, он когда-нибудь и говорил, но все позабыли об этом. Вскоре после этого он еще один раз не явился, и, как нарочно, в субботу, когда игра продолжалась дольше обыкновенного, и все опять с удивлением узнали, что он давно страдает грудной жабой и что в субботу у него был сильный припадок болезни. Но потом все опять установилось, и игра стала даже серьезнее и интереснее, так как Николай Дмитриевич меньше развлекался посторонними разговорами. Только шуршали крахмальные юбки горничной да неслышно скользили из рук игроков атласные карты и жили своей таинственной и молчаливой жизнью, особой от жизни игравших в них людей. К Николаю Дмитриевичу они были по-прежнему равнодушны и иногда зло-насмешливы, и в этом чувствовалось что-то роковое, фатальное.

Но в четверг, 26 ноября, в картах произошла странная перемена. Как только началась игра, к Николаю Дмитриевичу пришла большая коронка, и он сыграл, и даже не пять, как

назначил, а маленький шлем, так как у Якова Ивановича оказался лишний туз, которого он не хотел показать. Потом опять на некоторое время появились шестерки, но скоро исчезли, и стали приходить полные масти, и приходили они с соблюдением строгой очереди, точно всем им хотелось посмотреть, как будет радоваться Николай Дмитриевич. Он назначал игру за игрой, и все удивлялись, даже спокойный Яков Иванович. Волнение Николая Дмитриевича, у которого пухлые пальцы с ямочками на сгибах потели и роняли карты, передалось и другим игрокам.

– Ну и везет вам сегодня, – мрачно сказал брат Евпраксии Васильевны, сильнее всего боявшийся слишком большого счастья, за которым идет такое же большое горе. Евпраксии Васильевне было приятно, что наконец-то к Николаю Дмитриевичу пришли хорошие карты, и она на слова брата три раза сплюнула в сторону, чтобы предупредить несчастье.

– Тьфу, тьфу, тьфу! Ничего особенного нет. Идут карты и идут, и дай бог, чтобы побольше шли.

Карты на минуту словно задумались в нерешимости, мелькнуло несколько двоек со смущенным видом – и снова с усиленной быстротой стали являться тузы, короли и дамы. Николай Дмитриевич не поспевал собирать карты и назначать игру и два раза уже засдался, так что пришлось пересдать. И все игры удавались, хотя Яков Иванович упорно умалчивал о своих тузах: удивление его сменилось недоверием ко внезапной перемене счастья, и он еще раз повторил неизменное решение – не играть больше четырех. Николай Дмитриевич сердился на него, краснел и задыхался. Он уже не обдумывал своих ходов и смело назначал высокую игру, уверенный, что в прикупе он найдет, что нужно.

Когда после сдачи карт мрачным Прокопием Васильевичем Масленников раскрыл свои карты, сердце его заколотилось и сразу упало, а в глазах стало так темно, что он покачнулся – у него было на руках двенадцать взяток: трефы и черзи от туза до десятки и бубновый туз с королем. Если он купит пикового туза, у него будет большой бескозырный шлем.

– Два без козыря, – начал он, с трудом справляясь с голосом.

– Три пики, – ответила Евпраксия Васильевна, которая была также сильно взволнована: у нее находились почти все пики, начиная от короля.

– Четыре черви, – сухо отозвался Яков Иванович.

Николай Дмитриевич сразу повысил игру на малый шлем, но разгоряченная Евпраксия Васильевна не хотела уступать и, хотя видела, что не сыграет, назначила большой в пиках. Николай Дмитриевич задумался на секунду и с некоторой торжественностью, за которой скрывался страх, медленно произнес:

– Большой шлем в бескозырях!

Николай Дмитриевич играет большой шлем в бескозырях! Все были поражены, и брат хозяйки даже крикнул:

– Ого!

Николай Дмитриевич протянул руку за прикупом, но покачнулся и повалил свечку. Евпраксия Васильевна подхватила ее, а Николай Дмитриевич секунду сидел неподвижно и прямо, положив карты на стол, а потом взмахнул руками и медленно стал валиться на левую сторону. Падая, он свалил столик, на котором стояло блюдечко с налитым чаем, и придавил своим телом его хрустнувшую ножку.

Когда приехал доктор, он нашел, что Николай Дмитриевич умер от паралича сердца, и в утешение живым сказал несколько слов о безболезненности такой смерти. Покойника положили на турецкий диван в той же комнате, где играли, и он, покрытый простыней, казался громадным и страшным. Одна нога, обращенная носком внутрь, осталась непокрытой и казалась чужой, взятой от другого человека; на подошве сапога, черной и совершенно новой на выемке, прилипла бумажка от тянучки. Карточный стол еще не был убран, и на нем валялись беспорядочно карты.

рядочно разбросанные, рубашкой вниз, карты партнеров и в порядке лежали карты Николая Дмитриевича, тоненькой колодкой, как он их положил.

Яков Иванович мелкими и неуверенными шагами ходил по комнате, стараясь не глядеть на покойника и не сходить с ковра на натертый паркет, где высокие каблуки его издавали дробный и резкий стук. Пройдя несколько раз мимо стола, он остановился и осторожно взял карты Николая Дмитриевича, рассмотрел их и, сложив такой же кучкой, тихо положил на место. Потом он посмотрел прикуп: там был пиковый туз, тот самый, которого не хватало Николаю Дмитриевичу для большого шлема. Пройдясь еще несколько раз, Яков Иванович вышел в соседнюю комнату, плотнее застегнул наваленный сюртук и заплакал, потому что ему было жаль покойного. Закрыв глаза, он старался представить себе лицо Николая Дмитриевича, каким оно было при его жизни, когда он выигрывал и смеялся. Особенно жаль было вспомнить легкомыслие Николая Дмитриевича и то, как ему хотелось выиграть большой бескозырный шлем. Проходил в памяти весь сегодняшний вечер, начиная с пяти бубен, которые сыграл покойный, и кончая этим непрерывным наплывом хороших карт, в котором чувствовалось что-то страшное. И вот Николай Дмитриевич умер – умер, когда мог наконец сыграть большой шлем.

Но одно соображение, ужасное в своей простоте, потрясло худенькое тело Якова Ивановича и заставило его вскочить с кресла. Оглядываясь по сторонам, как будто мысль не сама пришла к нему, а кто-то шепнул ее на ухо, Яков Иванович громко сказал:

– Но ведь никогда он не узнает, что в прикупе был туз и что на руках у него был верный большой шлем. Никогда!

И Якову Ивановичу показалось, что он до сих пор не понимал, что такое смерть. Но теперь он понял, и то, что он ясно увидел, было до такой степени бессмысленно, ужасно и непоправимо. Никогда не узнает! Если Яков Иванович станет кричать об этом над самым его ухом, будет плакать и показывать карты, Николай Дмитриевич не услышит и никогда не узнает, потому что нет на свете никакого Николая Дмитриевича. Еще одно бы только движение, одна секунда чего-то, что есть жизнь, – и Николай Дмитриевич увидел бы туза и узнал, что у него есть большой шлем, а теперь все кончилось и он не знает и никогда не узнает.

– Ни-ко-гда, – медленно, по слогам, произнес Яков Иванович, чтобы убедиться, что такое слово существует и имеет смысл.

Такое слово существовало и имело смысл, но он был до того чудовищен и горек, что Яков Иванович снова упал в кресло и беспомощно заплакал от жалости к тому, кто никогда не узнает, и от жалости к себе, ко всем, так как то же страшно и бессмысленно жестокое будет и с ним и со всеми. Он плакал – и играл за Николая Дмитриевича его картами, и брал взятки одна за другой, пока не собралось их тринадцать, и думал, как много пришлось бы записать, и что никогда Николай Дмитриевич этого не узнает. Это был первый и последний раз, когда Яков Иванович отступил от своих четырех и сыграл во имя дружбы большой бескозырный шлем.

– Вы здесь, Яков Иванович? – сказала вошедшая Евпраксия Васильевна, опустилась на рядом стоящий стул и заплакала. – Как ужасно, как ужасно!

Оба они не смотрели друг на друга и молча плакали, чувствуя, что в соседней комнате, на диване, лежит мертвец, холодный, тяжелый и немой.

– Вы послали сказать? – спросил Яков Иванович, громко и истово сморкаясь.

– Да, брат поехал с Аннушкой. Но как они разыщут его квартиру – ведь мы адреса не знаем.

– А разве он не на той же квартире, что в прошлом году? – рассеянно спросил Яков Иванович.

– Нет, переменял. Аннушка говорит, что он нанимал извозчика куда-то на Новинский бульвар.

– Найдут через полицию, – успокоил старичок. – У него ведь, кажется, есть жена?

Евпраксия Васильевна задумчиво смотрела на Якова Ивановича и не отвечала. Ему показалось, что в ее глазах видна та же мысль, что пришла и ему в голову. Он еще раз высморкался, спрятал платок в карман наваченного сюртука и сказал, вопросительно поднимая брови над покрасневшими глазами:

– А где же мы возьмем теперь четвертого?

Но Евпраксия Васильевна не слыхала его, занятая соображениями хозяйственного характера. Помолчав, она спросила:

– А вы, Яков Иванович, все на той же квартире?

1899 г.

Кусака

I

Она никому не принадлежала; у нее не было собственного имени, и никто не мог бы сказать, где находилась она во всю долгую морозную зиму и чем кормилась. От теплых изб ее отгоняли дворовые собаки, такие же голодные, как и она, но гордые и сильные своею принадлежностью к дому; когда, гонимая голодом или инстинктивную потребностью в общении, она показывалась на улице, – ребята бросали в нее камнями и палками, взрослые весело улюлюкали и страшно, пронзительно свистали. Не помня себя от страха, переметываясь со стороны на сторону, натываясь на загорожи и людей, она мчалась на край поселка и пряталась в глубине большого сада, в одном ей известном месте. Там она зализывала ушибы и раны и в одиночестве копила страх и злобу.

Только один раз ее пожалели и приласкали. Это был пропойца-мужик, возвращавшийся из кабака. Он всех любил и всех жалел и что-то говорил себе под нос о добрых людях и своих надеждах на добрых людей; пожалел он и собаку, грязную и некрасивую, на которую случайно упал его пьяный и бесцельный взгляд.

– Жучка! – позвал он ее именем, общим всем собакам. – Жучка! Пойди сюда, не бойся!

Жучке очень хотелось подойти; она виляла хвостом, но не решалась. Мужик похлопал себя рукой по коленке и убедительно повторил:

– Да пойдя, дура! Ей-богу, не трону!

Но, пока собака колебалась, все яростнее размахивая хвостом и маленькими шажками подвигаясь вперед, настроение пьяного человека изменилось. Он вспомнил все обиды, нанесенные ему добрыми людьми, почувствовал скуку и тупую злобу и, когда Жучка легла перед ним на спину, с размаху ткнул ее в бок носком тяжелого сапога.

– У-у, мразь! Тоже лезет!

Собака завизжала, больше от неожиданности и обиды, чем от боли, а мужик, шатаясь, побрел домой, где долго и больно бил жену и на кусочки изорвал новый платок, который на прошлой неделе купил ей в подарок.

С тех пор собака не доверяла людям, которые хотели ее приласкать, и, поджав хвост, убегала, а иногда со злобою набрасывалась на них и пыталась укусить, пока камнями и палкой не удавалось отогнать ее. На одну зиму она поселилась под террасой пустой дачи, у которой не было сторожа, и бескорыстно сторожила ее: выбегала по ночам на дорогу и лаяла до хрипоты. Уже улегшись на свое место, она все еще злобно ворчала, но сквозь злобу проглядывало некоторое довольство собой и даже гордость.

Зимняя ночь тянулась долго-долго, и черные окна пустой дачи угрюмо глядели на обледеневший неподвижный сад. Иногда в них как будто вспыхивал голубоватый огонек: то отражалась на стекле упавшая звезда, или остроугольный месяц посылал свой робкий луч.

II

Наступила весна, и тихая дача огласилась громким говором, скрипом колес и грязным топотом людей, переносящих тяжести. Приехали из города дачники, целая веселая ватага взрослых, подростков и детей, опьяненных воздухом, теплом и светом; кто-то кричал, кто-то пел, смеялся высоким женским голосом.

Первой, с кем познакомилась собака, была хорошенькая девушка в коричневом форменном платье, выбежавшая в сад. Жадно и нетерпеливо, желая охватить и сжать в своих объятиях все видимое, она посмотрела на ясное небо, на красноватые сучья вишен и быстро легла на траву, лицом к горячему солнцу. Потом так же внезапно вскочила и, обняв себя руками, целуя свежими устами весенний воздух, выразительно и серьезно сказала:

– Вот весело-то!

Сказала и быстро закружилась. И в ту же минуту беззвучно подкравшаяся собака яростно вцепилась зубами в раздувавшийся подол платья, рванула и так же беззвучно скрылась в густых кустах крыжовника и смородины.

– Ай, злая собака! – убегая, крикнула девушка, и долго еще слышался ее взволнованный голос: – Мама, дети! Не ходите в сад: там собака! Огромная!.. Злю-у-щая!..

Ночью собака подкралась к заснувшей даче и бесшумно улеглась на свое место под террасой. Пахло людьми, и в открытые окна приносились тихие звуки короткого дыхания. Люди спали, были беспомощны и не страшны, и собака ревниво сторожила их: спала одним глазом и при каждом шорохе вытягивала голову с двумя неподвижными огоньками фосфорически светящихся глаз. А тревожных звуков было много в чуткой весенней ночи: в траве шуршало что-то невидимое, маленькое и подбиралось к самому лоснящемуся носу собаки; хрустела прошлогодняя ветка под заснувшей птицей, и на близком шоссе грохотала телега и скрипели нагруженные возы. И далеко окрест в неподвижном воздухе расстилался запах душистого, свежего дегтя и манил в светлеющую даль.

Приехавшие дачники были очень добрыми людьми, а то, что они были далеко от города, дышали хорошим воздухом, видели вокруг себя все зеленым, голубым и беззлобным, делало их еще добрее. Теплом входило в них солнце и выходило смехом и расположением ко всему живущему. Сперва они хотели прогнать напугавшую их собаку и даже застрелить ее из револьвера, если не уберется; но потом привыкли к лаю по ночам и иногда по утрам вспоминали:

– А где же наша Кусака?

И это новое имя «Кусака» так и осталось за ней. Случалось, что и днем замечали в кустах темное тело, бесследно пропадавшее при первом движении руки, бросавшей хлеб, – словно это был не хлеб, а камень, – и скоро все привыкли к Кусачке, называли ее «своей» собакой и шутили по поводу ее дикости и беспричинного страха. С каждым днем Кусака на один шаг уменьшала пространство, отделявшее ее от людей; присмотрелась к их лицам и усвоила их привычки: за полчаса до обеда уже стояла в кустах и ласково помаргивала. И та же гимназисточка Леля, забывшая обиду, окончательно ввела ее в счастливый круг отдыхающих и веселящихся людей.

– Кусачка, пойдись ко мне! – звала она к себе. – Ну, хорошая, ну, милая, пойдись! Сахару хочешь?.. Сахару тебе дам, хочешь? Ну, пойдись же!

Но Кусака не шла: боялась. И осторожно, похлопывая себя руками и говоря так ласково, как это можно было при красивом голосе и красивом лице, Леля подвигалась к собаке и сама боялась: вдруг укусит.

– Я тебя люблю, Кусачка, я тебя очень люблю. У тебя такой хорошенький носик и такие выразительные глазки. Ты не веришь мне, Кусачка?

Брови Лели поднялись, и у самой у нее был такой хорошенький носик и такие выразительные глаза, что солнце поступило умно, расцеловав горячо, до красноты щек, все ее молоденькое, наивно-прелестное личико.

И Кусачка второй раз в своей жизни перевернулась на спину и закрыла глаза, не зная наверно, ударят ее или приласкают. Но ее приласкали. Маленькая, теплая рука прикоснулась нерешительно к шершавой голове и, словно это было знаком неотразимой власти, свободно и смело забегала по всему шерстистому телу, тормоша, лаская и щекоча.

– Мама, дети! Смотрите: я ласкаю Кусаку! – закричала Леля.

Когда прибежали дети, шумные, звонкоголосые, быстрые и светлые, как капельки разбежавшейся ртути, Кусака замерла от страха и беспомощного ожидания: она знала, что, если теперь кто-нибудь ударит ее, она уже не в силах будет впиться в тело обидчика своими острыми зубами: у нее отняли ее непримиримую злобу. И когда все наперерыв стали ласкать ее, она долго еще вздрагивала при каждом прикосновении ласкающей руки, и ей больно было от непривычной ласки, словно от удара.

III

Всею своею собачьей душою расцвела Кусака. У нее было имя, на которое она стремглав неслась из зеленой глубины сада; она принадлежала людям и могла им служить. Разве недостаточно этого для счастья собаки?

С привычкою к умеренности, создавшеюся годами бродячей, голодной жизни, она ела очень мало, но и это малое изменило ее до неузнаваемости: длинная шерсть, прежде висевшая рыжими, сухими космами и на брюхе вечно покрытая засохшею грязью, очистилась, почернела и стала лосниться, как атлас. И когда она от нечего делать выбегала к воротам, становилась у порога и важно осматривала улицу вверх и вниз, никому уже не приходило в голову дразнить ее или бросить камнем.

Но такую гордую и независимую она бывала только наедине. Страх не совсем еще выпарился огнем ласк из ее сердца, и всякий раз при виде людей, при их приближении, она терялась и ждала побоев. И долго еще всякая ласка казалась ей неожиданностью, чудом, которого она не могла понять и на которое она не могла ответить. Она не умела ласкаться. Другие собаки умеют становиться на задние лапки, тереться у ног и даже улыбаться, и тем выражают свои чувства, но она не умела.

Единственное, что могла Кусака, это упасть на спину, закрыть глаза и слегка завизжать. Но этого было мало, это не могло выразить ее восторга, благодарности и любви, – и с внезапным наитием Кусака начала делать то, что, быть может, когда-нибудь она видела у других собак, но уже давно забыла. Она нелепо кувыркалась, неуклюже прыгала и вертелась вокруг самой себя, и ее тело, бывшее всегда таким гибким и ловким, становилось неповоротливым, смешным и жалким.

– Мама, дети! Смотрите, Кусака играет! – кричала Леля и, задыхаясь от смеха, просила: – Еще, Кусачка, еще! Вот так! Вот так...

И все собирались и хохотали, а Кусака вертелась, кувыркалась и падала, и никто не видел в ее глазах странной мольбы. И как прежде на собаку кричали и улюлюкали, чтобы видеть ее отчаянный страх, так теперь нарочно ласкали ее, чтобы вызвать в ней прилив любви, бесконечно смешной в своих неуклюжих и нелепых проявлениях. Не проходило часа, чтобы кто-нибудь из подростков или детей не кричал:

– Кусачка, милая Кусачка, поиграй!

И Кусачка вертелась, кувыркалась и падала при несмолкаемом веселом хохоте. Ее хвалили при ней и за глаза и жалели только об одном, что при посторонних людях, приходивших в гости, она не хочет показать своих штук и убегает в сад или прячется под террасой.

Постепенно Кусака привыкла к тому, что о пище не нужно заботиться, так как в определенный час кухарка даст ей помоев и костей, уверенно и спокойно ложилась на свое место под террасой и уже искала и просила ласк. И отяжелела она: редко бегала с дачи, и когда маленькие дети звали ее с собою в лес, уклончиво виляла хвостом и незаметно исчезала. Но по ночам все так же громок и бдителен был ее сторожевой лай.

IV

Желтыми огнями загорелась осень, частыми дождями заплакало небо, и быстро стали пустеть дачи и умолкать, как будто непрерывный дождь и ветер гасили их, точно свечи, одну за другой.

– Как же нам быть с Кусакой? – в раздумье спрашивала Леля.

Она сидела, охватив руками колени, и печально глядела в окно, по которому скатывались блестящие капли начавшегося дождя.

– Что у тебя за поза, Леля! Ну кто так сидит? – сказала мать и добавила: – А Кусаку придется оставить. Бог с ней!

– Жа-а-лко, – протянула Леля.

– Ну что поделаешь? Двора у нас нет, а в комнатах ее держать нельзя, ты сама понимаешь.

– Жа-а-лко, – повторила Леля, готовая заплакать.

Уже приподнялись, как крылья ласточки, ее темные брови и жалко сморщился хорошенький носик, когда мать сказала:

– Догаевы давно уже предлагали мне щеночка. Говорят, очень породистый и уже служит. Ты слышишь меня? А эта что – дворняжка!

– Жа-а-лко, – повторила Леля, но не заплакала.

Снова пришли незнакомые люди, и заскрипели возы, и застонали под тяжелыми шагами половицы, но меньше было говора и совсем не слышно было смеха. Напуганная чужими людьми, смутно предчувствуя беду, Кусака убежала на край сада и оттуда, сквозь поредевшие кусты, неотступно глядела на видимый ей уголок террасы и на сновавшие по нем фигуры в красных рубахах.

– Ты здесь, моя бедная Кусачка, – сказала вышедшая Леля. Она уже была одета по-дорожному – в то коричневое платье, кусок от которого оторвала Кусака, и черную кофточку. – Пойдем со мной!

И они вышли на шоссе. Дождь то принимался идти, то утихал, и все пространство между почерневшею землей и небом было полно клубящимися, быстро идущими облаками. Снизу было видно, как тяжелы они и непроницаемы для света от насытившей их воды и как скучно солнцу за этою плотною стеной.

Налево от шоссе тянулось потемневшее жнивье, и только на бугристом и близком горизонте одинокими купами поднимались невысокие разрозненные деревья и кусты. Впереди, недалеко, была застава и возле нее трактир с железной красной крышей, а у трактира кучка людей дразнила деревенского дурачка Илюшу.

– Дайте копеечку, – гнусавил протяжно дурачок, и злые, насмешливые голоса наперебой отвечали ему:

– А дрова колоть хочешь?

И Илюша цинично и грязно ругался, а они без веселья хохотали.

Прорвался солнечный луч, желтый и анемичный, как будто солнце было неизлечимо больным; шире и печальнее стала туманная осенняя даль.

– Скучно, Кусака! – тихо проронила Леля и, не оглядываясь, пошла назад.

И только на вокзале она вспомнила, что не простилась с Кусакой.

V

Кусака долго металась по следам уехавших людей, добежала до станции и – промокшая, грязная – вернулась на дачу. Там она проделала еще одну новую штуку, которой никто, однако,

не видал: первый раз взошла на террасу и, приподнявшись на задние лапы, заглянула в стеклянную дверь и даже поскребла когтями. Но в комнатах было пусто, и никто не ответил Кусаке.

Поднялся частый дождь, и отовсюду стал надвигаться мрак осенней длинной ночи. Быстро и глухо он заполнил пустую дачу; бесшумно выползал он из кустов и вместе с дождем лился с неприветного неба. На террасе, с которой была снята парусина, отчего она казалась обширной и странно пустой, свет долго еще боролся с тьмою и печально озарял следы грязных ног, но скоро уступил и он.

Наступила ночь.

И когда уже не было сомнений, что она наступила, собака жалобно и громко завывала. Звонящей, острой, как отчаяние, нотой ворвался этот вой в монотонный, угрюмо покорный шум дождя, прорезал тьму и, замирая, понесся над темным и обнаженным полем.

Собака выла – ровно, настойчиво и безнадежно спокойно. И тому, кто слышал этот вой, казалось, что это стонет и рвется к свету сама беспросветно-темная ночь, и хотелось в тепло, к яркому огню, к любящему женскому сердцу.

Собака выла.

1901 г.

Первый гонорар

I

Помощник присяжного поверенного Толпенников выслушал в заседании суда две речи, выпил в буфете стакан пустого чая, поговорил с товарищем о будущей практике и направился к выходу, деловито хмурясь и прижимая к боку новенький портфель, в котором одиноко болталась книга «Судебные речи». Он подходил уже к лестнице, когда чья-то большая холодная рука просунулась между его туловищем и локтем, отыскала правую руку и вяло пожала ее.

– Алексей Семенович! – воскликнул Толпенников с выражением радости и почтения, так как холодная рука принадлежала его патрону.

– Куда? – вяло спросил патрон, высокий, сутуловатый человек.

Спрашивая, он не смотрел на Толпенникова, и взгляд его, усталый и беспредметный, был устремлен куда-то в глубину длинного коридора, где мелькали у светлых дверей темные тени, шуршали по камню ногами, поднимая еле заметную пыль, и болтали.

– Да домой! – оживленно и громко ответил Толпенников. – Я тут с утра. Ах, если бы вы знали, как все это интересует меня!

С тем же оживлением он начал передавать свои впечатления от речи Пархоменко, которая очень понравилась ему, между тем как тяжелая, холодная рука незаметно увлекала его наверх, в комнату совета присяжных поверенных. Там Алексей Семенович молча раскрыл свой туго набитый портфель, покопался в нем и протянул помощнику бумаги в синей обложке с крупной надписью «Дело».

– Вот. Завтра в съезде. Тут и доверенность.

Толпенников покраснел и, протягивая обе руки, запинаясь, спросил:

– Как завтра? И я... А вы?

– Я сегодня еду в Петербург, – равнодушно и устало говорил патрон, медленно опускаясь в кресло. Тяжелые веки едва приподнимались над глазами, и все лицо его, желтое, стянутое глубокими морщинами к седой щетинистой бородке, похоже было на старый пергамент, на котором не всем понятную, но печальную повесть начертала жестокая жизнь.

– Но как же? – отталкивал Толпенников бумаги. – Ведь я... Это завтра?

Последнее слово он выговорил с особенным страхом и особенным почтением.

– Да. Тут все есть. Приговор мирового. Черновик моей апелляционной жалобы. Ну, да все. Постарайтесь не провалить. Фрак есть?

– Есть, то есть нет, но я достану. Но ведь я... боюсь Как это вдруг?..

Алексей Семенович медленно поднял свои усталые глаза на помощника, все еще державшего в руках бумаги, и как будто знакомое что-то, старое и давно забытое увидел в этом молодом, испуганно-торжественном лице. Выражение усталости исчезло, и где-то в глубине глаз загорелись две маленькие звездочки, а кругом появились тоненькие лучеобразные морщинки. Такое выражение бывает у взрослых людей, когда они случайно увидят играющих котят, что-нибудь маленькое, забавное и молодое.

– Бойтесь? – улыбался он. – Это пройдет.

Алексей Семенович поднялся, медленно расправил согнутую спину и, смотря поверх голов прежним беспредметным взглядом, повторил равнодушно и устало:

– Да, пройдет. Ну, мне пора.

Снова Толпенников ощутил прикосновение холодной, вялой руки и увидел согнутую, покачивающуюся спину патрона. Одним из адвокатов бросая отрывистые кивки, другим на

ходу пожимая руки, Алексей Семенович большими ровными шагами прошел накуренную, грязную комнату и скрылся за дверью, мелькнув потертым локтем не нового фрака, – а помощник все еще смотрел ему вслед и не знал, нужно ли догонять патрона, чтобы отдать ему бумаги, или уже оставить их у себя.

И оставил их у себя.

Вечером Толпенников готовился к защите и думал, что он никогда не станет защитником. С внешней стороны дело было ясно и просто и всей своей ясностью и простотой говорило, что жена действительного статского советника Пелагея фон Брезе виновна в продаже из своего магазина безбандерольных папирос. Мировой судья, осудивший ее, был совершенно прав, и непонятно было только одно, как мог ее защищать Алексей Семенович, а после обвинения как он мог написать жалобу, слабую по аргументам и больше, казалось, чем сам обвинительный приговор, уличавшую г-жу фон Брезе. Таково было первое впечатление от прочитанных бумаг, и Толпенников, утром еще такой счастливый, представлялся себе стоящим перед глубокой и темной ямой и таким жалким, что не верилось в недавнее счастье. На стуле в углу висел распяленный фрак, добытый у знакомого помощника, вызывающе лез в глаза своей матово-черной поверхностью и напоминал те мысли и мечты, которые носились в голове Толпенникова каких-нибудь два часа тому назад. Они были яркие, образны и наивно-благородны, эти мысли и мечты. Не кургузым, нелепо комичным одеянием представлялся фрак, а чем-то вроде рыцарских лат, равно как и сам Толпенников казался себе рыцарем какого-то нового ордена, призванного блюсти правду на земле, защищать невинных и угнетенных. Самое слово «защитник» до сих пор вызывало в нем сдержанно-горделивый трепет и представлялось большим, звучным, точно оно состоит не из букв, а отлито из благородного металла. Только в мыслях иногда осмеливался Толпенников применять его к себе и всякий раз испытывал при этом страх, и как влюбленный ожидает первого свидания, так и он ожидал первой защиты.

Толпенников не знал, что ему теперь делать, и в отчаянии снова уселся за бумаги. Они лежали все такие же, четко переписанные, ясные, но Толпенников не понимал их и невольным движением спустил еще ниже висевшую над столом электрическую лампочку. Номер, в котором он жил, был мал и грязен, но освещался электричеством, и это особенно ставилось на вид Толпенникову, когда два дня тому назад его пригласили в контору для объяснений и настоятельно потребовали денег за два прожитых месяца. Постепенно туман перед глазами рассеивался, и Толпенников стал вдумываться в смысл того, что беззвучно выговаривали его губы. И тогда на левой странице, внизу, он заметил одну пропущенную подробность, которая была в пользу г-жи фон Брезе и давала несколько иное освещение делу. И хотя это была подробность, благоприятное сочетание слов, а не факт, но он обрадовался и сразу почувствовал себя бодрым, сообразительным, как всегда, и виноватым перед патроном и г-жой фон Брезе.

Толпенников улыбнулся, почесал себе нос и зачем-то слегка покачал его двумя пальцами, поддернул брюки, которые у него всегда сползали, и вышел прогуляться в длинный коридор. Вернувшись оттуда, он внимательно осмотрел фрак сверху и с подкладки, улыбнулся и подумал, что фрак велик для его роста и широк. Потом с некоторой боязнью сел за бумаги и стал внимательно читать их, делая на полях отметки, сверяясь с акцизным уставом и часто почесывая нос то пальцем, то карандашом. Он еще не приучил черт своего лица к серьезной неподвижности, и улыбался, и покачивал головой, и чмокал губами, маленький, худенький и наивно-великодушный.

К двенадцати часам Толпенников сложил бумаги в портфель, зная дело так, как не знал его никогда патрон, не понимая своих сомнений и колебаний. Невинность г-жи фон Брезе была очевидна, и приговор мирового судьи был ошибкой, легко понятной, так как и сам Толпенников вначале ошибался. Довольный собой, довольный делом и патроном, он еще раз осмотрел фрак, сверху и с подкладки, и нервно потянулся при мысли, что завтра наденет его и будет защищать. Достав из стола почтовой бумаги, Толпенников начал писать отцу:

«Дорогой папаша! Ты можешь не высылать мне денег и лучше перешли их Алеше, который нуждается, вероятно, и в обмундировке и в учебниках. Я получил от патрона дело (последняя фраза была подчеркнута) очень интересное и буду завтра защищать...»

Над последним словом Толпенников остановился и, подумав, отложил начатый листок в сторону и взял другой. Улыбнувшись, энергично почесав нос, он ближе нагнулся к столу и начал писать, не разгонистым почерком, как отцу, а мелким и убористым: «Любимая моя Зина! Можешь ты вообразить меня во фраке, стоящим перед судьями и защищающим? Одна рука на груди, другая вперед... Нет, не могу шутить, я слишком счастлив сейчас, и если бы только была здесь ты, моя родная, неизменная, терпеливая Зиночка. Сейчас 12 часов, и я только что кончил...»

Электрическая лампочка потухла. С секунду краснела ее тонкая проволочка, а потом стало темно, и только из коридора, через стеклянное окно над дверью, лился слабый свет. Было не двенадцать часов, а час, когда в номерах тушилось электричество.

– Черт бы вас побрал с вашим электричеством, – обругался Толпенников, осторожно, чтобы не разлить чернил, нащупывая письмо и кидая его в стол.

Улегшись, Толпенников долго не засыпал и думал о генеральше фон Брезе, которая представлялась ему седой величественной дамой, об акцизном уставе и серых далеких глазах. Между глазами и уставом была какая-то связь и становилась все крепче и загадочнее, и, стараясь понять ее, Толпенников уснул, маленький, худенький и наивно-счастливый.

II

Действительный статский советник в отставке, г. фон Брезе, бритый как актер, величественно повел большим носом в сторону Толпенникова и сухо пояснил, что жена его быть на суде не может вследствие болезни.

– Эта гнусная история потрясла организм моей супруги, – сказал фон Брезе, смотря на кончик коса Толпенникова. – Вы помощник Алексея Семеновича?

Толпенников подумал, что генерал не доверяет ему и считает слишком молодым для ответственного дела. Сконфуженно, но в то же время задорно он сказал:

– Хотите доверенность посмотреть?

– Ах, что вы! – отмахнулся рукой фон Брезе. – Но мы говорили о генеральше. Она потрясена, молодой человек. По-тря-се-на. Вы понимаете...

Фон Брезе отвел Толпенникова немного в сторону, хотя в этом не виделось надобности, наклонился к самому его лицу и поднял палец.

– Вы понимаете? Полиция... – утвердительно кивал он головой, поднимая вверх брови и губы, так что последние почти коснулись красноватого носа. – Насчет... понимаете? – Он отвел назад руку с растопыренными пальцами и открытой ладонью, показывая, как берутся взятки. Затем откачнулся назад и еще раз кивнул головой. – Да-да. Представьте.

Толпенников сочувственно покачал головой, думая: «Экая цаца!» Генерал пристально и задумчиво посмотрел на нос Толпенникова и с внезапным приливом дружеской приязни взял его под руку и еще на два шага отвел в сторону.

– Я уже не раз представлял ей: зачем нам магазин? Какая-то та-бач-ная торговля? А? – спрашивал генерал, отводя рукой в сторону воображаемую торговлю. – Но она: хочу. А?

– Да, уж это... – неопределенно сочувствовал Толпенников.

– Да? – откачнулся назад фон Брезе. – Но не угодно ли?

К Толпенникову протянулась рука с раскрытым серебряным портсигаром.

– Спасибо, я не курю.

– Да? Но я закурю, если позволите.

Двумя пальцами, большим и указательным, генерал достал папиросу, постучал ею о крышку портсигара и закурил. Голубоватый дым тонкой струйкой поднимался вверх. Фон Брезе плавным движением руки направляет дым к себе и, щурясь, нюхает его.

– Мои папиросы, – говорит он удовлетворенно. – Других не выношу. А он нашел там несколько...

– Четыре тысячи, однако, – вставляет Толпенников.

– Да? Я люблю запас. И говорит: без-бан-де-рольные. Смешно!

Толпенникову неприятен генерал и немного жаль, что приходится выступать по такому сухому делу о нарушении акцизного устава. Но несправедливость – всегда несправедливость, думает он и горячо берется за допрос свидетелей. Он не замечает, что многие из публики улыбаются его фраку, фалды которого спускаются ниже подколенного сгиба; по привычке поддергивает сползающие брюки, не думая о неприличии этого жеста, и смотрит прямо в рот говорящему свидетелю. Как маленькая злая ищейка, он тормозит толстого околоточного надзирателя. Тот не отрываясь глядит на судей, бросая в сторону адвоката отрывистые и гулкие слова. Он весь полон скрытого негодования; шея его, сдавленная твердым воротником, краснеет и багровой полосой ложится на узкий серебряный галун, голова его неподвижно обращена к судьям, но коротенький круглый нос его, оттопыренные губы, усы, все это сдвигается в сторону ненавистного молокососа. Толпенников следит за глухой борьбой толстяка с гневом и дисциплиной и наслаждается; чисто по-студенчески он ненавидит полицию и не допускает мысли о человечности полицейских. Толстые, тонкие – они равны в его глазах. За свидетелями обвинения идет черед свидетелей защиты, и невинность г-жи фон Брезе устанавливается с очевидностью. Слово предоставлено защитнику. Толпенников подробно и дельно анализирует свидетельские показания и очень много и горячо говорит о муках этой женщины, над седой головой которой нависло такое позорное обвинение. Искренность молодого защитника заражает судей, они благосклонно смотрят на него, и один, справа, даже кивает в такт речи головой.

Пока судьи совещаются, Толпенников выкуривает с генералом папиросу, о чем-то смеется, кому-то пожимает руку и уходит в глубину зала, к окну, чтобы еще раз пережить свою речь. Она звучит еще в его ушах, когда его настигает толстяк околоточный.

– Позвольте вам доложить, – начинает он вежливо, дотрагиваясь до плеча Толпенникова. Тот оборачивается, ненавистный вид молодого, дерзкого лица выводит околоточного из себя. Округлив глаза, нос и рот, околоточный выбрасывает, как из мортиры:

– Стыдно-с!

Толпенников улыбается, и на выцветших глазах околоточного показывается какая-то муть.

– Стыдно-с, молодой человек. Я вам... в отцы гожусь.

Он еще хочет что-то сказать, но не может придумать ничего достаточно сильного и выразительного.

– Стыдно-с! – повторяет он, с ненавистью глядя на улыбающееся лицо, круто поворачивается, как на смотру, и отходит.

Как и ожидал Толпенников, съезд отменяет приговор судьи и признает г-жу фон Брезе по суду оправданной. Генерал важно пожимает руку защитника.

– Благодарю вас, господин Толпенников.

В руке Толпенникова что-то остается. Подчиняясь странному, плохо сознаваемому чувству необходимости принять то, что передали в его руку, он некоторое время держит руку сжатой, потом с любопытством открывает ее и видит на ладони два золотых, не то десяти-, не то пятнадцатирублевого достоинства. Толпенникова неприятно передегивает, он срывается с места и бежит по лестнице, крича:

– Эй, послушайте! Как вас!.. Генерал!

Но фон Брезе нет в прихожей, не видно его и на улице. Толпенников еще раз рассматривает золотые, – они по пятнадцать рублей, – и, словно не чувствуя уважения к деньгам, которые достались ему таким неприятным путем, кладет их не в портмоне, а небрежно опускает в жилетный карман. На секунду задумавшись, он снова идет наверх, так как ему жаль расстаться с тем местом, где он испытал такие приятные горделивые чувства. В зале он видит одного из свидетелей защиты, приказчика фон Брезе. Это пестро одетый человек, с острым лицом, острой рыжеватой бородкой и толстым перстнем-печаткой на указательном пальце, покрытом, как и вся рука, частыми крупными веснушками. Острые глаза его косят, и весь он дышит фальшью, угодничеством и нестерпимой фамильярностью, но Толпенников чувствует к нему расположение и подходит.

– Ну как? – спрашивает он, улыбаясь.

– Ловко обработали дельце, – одобряет приказчик и, подмаргивая в ту сторону, куда ушел генерал, добавляет: – Удрал наш-то. Супругу поздравлять полетел.

– Еще бы, конечно, тяжело. Две недели отсидеть пришлось бы.

– Еще как! Ну, да и то сказать, беда-то не велика. Она уже раз отсиживала да раз штраф заплатила.

– Отсиживала? – не понимает Толпенников.

– Ну да, отсиживала. Ее тогда Иван Петрович защищал, ну, да пришел пьяный и такого нагородил! Наш-то взбеленился, жаловаться на него хотел. Да что уж! – И приказчик махнул веснушчатой рукой.

Толпенников мучительно краснеет, не решаясь понять того, что так ясно, и вместе с тем понимая и ужасаясь.

– Отсиживала? – еще раз повторяет он пошлое, резкое слово. – Эта почтенная дама!

– Почтенная! Из кухарок дама-то эта. На кухарке наш женился, Палашкой звать. Вот и они об этом знают. Верно, Абрам Петрович?

Абрам Петрович одет прилично, но ботинки его запылены и там, где выпирает мизинец, – порваны, и все его пятнистое, хотя также приличное лицо имеет такой вид, точно он каждую минуту собирается подойти и благородно попросить на бедность. Он протягивает Толпенникову толстую, потную руку и потом уже отвечает на вопрос приказчика голосом, хриплым от водки и от простуды:

– Верно. Сына из-за этой швали, извините за выражение, на улицу выгнал.

– А ловко вы это насчет седой головы подпустили! – хвалит приказчик. – А у нее голова запросто рыжая, чистый шиньон.

– Верно, – хвалит Абрам Петрович.

– А папироску наш-то вам давал? – спрашивает приказчик, и глаза его сближаются в готовности к смеху.

Толпенников сердито кивает головой, и приказчик смеется. Смеется хриплым басом и Абрам Петрович.

– Дурак-дурак, а поди какие фокусы выкидывает! А сам и курить не умеет, только дым пущает. Ну и жох! – удивляется приказчик.

– Но как же вы, – говорит сурово Толпенников, хмурия брови и подтягивая сползающие брюки, – как же вы сами показывали, что он папиросы эти для себя держит?

Приказчик и Абрам Петрович переглядываются и смеются. Затем приказчик внезапно становится серьезным и протягивает руку:

– А за сим до свидания-с. Дозвольте и напередки быть знакомым. Ежели когда мимо случится, так уж не обойдите. Для вас всегда сотенка найдется. Пойдем, Абрам Петрович. Седая голова... Ах ты, боже мой! – еще раз напоминает он Толпенникову его удачное выражение и уходит.

Толпенников все еще стоит на месте, опустив голову и заложив руки в карманы. Когда перед его глазами появляется загадочная фигура Абрама Петровича, Толпенникову кажется, что он хочет чего-то попросить, и вопросительно смотрит на его грязное, ослабленное лицо.

– А я к вам, господин Толпенников, – говорит Абрам Петрович почти шепотом и наклоняясь к помощнику, – если когда понадобится, так уж будьте милостивы, не откажите воспользоваться услугами, спросите только у Ивана Сазонтыча приказчика; они знают, где меня найти.

– На что понадобится? – удивленно спрашивает Твлпенников.

На лице Абрама Петровича мелькает удивление, потом сомнение, и сменяется понимающей примирительной улыбкой.

– Уж не оставьте, – повторяет он. – Они знают. Прямо так и спрашивайте Абрама Петровича.

– Вон! – вскрикивает Толпенников тонким фальцетом, и Абрам Петрович отходит, низко кланяясь, но не протягивая на этот раз руки. На лестнице он оборачивается и еще раз говорит:

– Так уж не оставьте.

Время еще раннее, и до разговора с приказчиком Толпенников намеревался пойти на совет, чтобы натолковаться между своими и поделиться впечатлениями первой защиты; но теперь ему совестно себя и совестно всего мира, и кажется, что всякий, только взглянув на его лицо, догадается о происшедшем. И по улице идти совестно, и хотелось бы спрятать портфель, чтобы никто не догадался о его звании «защитника». Придя домой, Толпенников боязливо отложил в сторону этот портфель, в котором он чувствовал присутствие изученного им дела, осторожно повесил жилет, не решаясь достать из его кармана золотые и еще раз взглянуть на них, и отвернулся от стола, в котором лежали начатые письма к отцу и к Зине. И все в этой маленькой комнатке казалось чуждым ему, странно угловатым и грубым, и смотрело на него, как незнакомый, пошлый и враждебно настроенный человек. Толпенников попробовал читать книгу, но не мог сосредоточиться на ней и вздрагивал от неприятного чувства, как будто кто-то неприятный стоит у него за плечами или сейчас войдет в дверь. И только улегшись в постель, повернувшись к стене и натянув на голову одеяло, он почувствовал себя спокойнее и перестал бояться мира, который вошел ему в душу – такой грязный, отвратительный и жестокий.

Вечером, когда стемнело, Толпенников пошел к патрону, но тот не вернулся еще из Петербурга. Ни к кому другому идти он не хотел. Близких людей у него не было, и Толпенников до поздней ночи шатался по бульварам. Дома, куда Толпенников вернулся очень поздно, было все так же неуютно угловато и враждебно. Раньше он любил посидеть за самоваром, помечтать и попеть тонким приятным тенорком, разгуливая по номеру и с любовью посматривая на полку с книгами и на фотографии на стенах, но теперь было противно все это и ото всего хотелось уйти: и от самовара, и от книг, и от фотографий.

– Ду-рак! – искренно и серьезно пожалел себя Толпенников, ложась в постель и сжимаясь в маленький круглый комочек, как продрогший ребенок. Но сон не приходил, не приходил вместе с ним и покой. Отчетливо, как галлюцинация, виделось пятнистое, приличное лицо Абрама Петровича и близко наклонялось, ослабленное, фамильярное, и оно было не одно, а со всех сторон назойливо лезли другие такие же лица и так же ослаблялись, и подмигивали, и предлагали свои услуги. И, как маленькому, хотелось отбиваться от этих призраков руками, плакать и просить у кого-то защиты.

На следующий день Толпенников застал Алексея Семеновича дома. Прием клиентов еще не окончился, несмотря на поздний час, и из кабинета глухо доносился незнакомый голос, что-то рассказывавший и о чем-то спрашивавший. В большой приемной чувствовалось недавнее присутствие людей, пахло табачным дымом, альбомы на круглом столе были разбросаны и некоторые раскрыты, и кресла вокруг стола расставлены в беспорядке. Толпенников успел рассмотреть несколько альбомов с видами Швейцарии и Парижа, и эти дурно исполненные картинки, одинаковые во всех приемных, докторских и адвокатских, наполнили его чувством

терпеливой скуки и какого-то безразличия к себе и к собственному делу, когда дверь из кабинета раскрылась и выпустила запоздавшего клиента – невысокого, толстого мужчину с широкой русой бородой и маленькими серыми глазами. Он еще раз повернулся к захлопнувшейся уже двери, точно желая сказать что-то забытое, но раздумал и быстро двинулся к передней, не глядя на Толпенникова и чуть не сбив его.

– Что хорошенького скажете? – спросил патрон. Он только что вышел из-за своего стола и, стоя возле, усталым и медленным движением подносил ко рту стакан крепкого чая. Но, по видимому, чай был совсем холодный, потому что Алексей Семенович поморщился и так же медленно поставил стакан на место.

– Ничего хорошего, Алексей Семенович.

– Проиграли? – поднял брови патрон.

– Нет, не проиграл, но...

Словно не слыша помощника, Алексей Семенович обычным движением взял его под руку и сказал:

– Пойдемте в столовую. Нужно фортку открыть.

– Нет, позвольте мне здесь сказать, – уперся Толпенников.

– Здесь? Ну, выкладывайте, – согласился патрон и, оставив руку Толпенникова, опустился на диван. В своем коротком пиджачке, без значка, он казался помощнику проще и добрее и вызывал к откровенности. Не садясь, часто поддергивая сползающие брюки, Толпенников с волнением передал случившееся, не умолчав ни об Абраме Петровиче, ни даже о «седой голове» Пелагеи фон Брезе. Патрон слушал молча, не поднимая глаз и слегка покачивая ногой с высоким старомодным каблуком, и только при рассказе о седой голове улыбнулся и посмотрел на помощника добрыми, но немного насмешливыми глазами.

– Ну? – спросил он, когда тот кончил рассказ, и добавил: – Вы все равно бегаєте по комнате. Позвоните, голубчик.

Когда явилась горничная, Алексей Семенович спросил ее, давно ли уехала жена, и приказал открыть фортки в приемной.

– Ну? – еще раз спросил он помощника. – Дальше.

– Думаю выйти из сословия, – мрачно ответил Толпенников. По правде, он не думал выходить из сословия, но его обидело равнодушие патрона и хотелось чем-нибудь особенно резким оттенить свое состояние.

– Пустое, – ответил Алексей Семенович с проблеском обычной усталости. – Но какой гусь этот фон Брезе, а с виду положительный дурак.

– Но ведь это...

– Что это? Ведь судьи оправдали?

– Оправдали, но...

– И никаких «но». Оправдали – значит, имели данные оправдать. Вы-то при чем? Ведь вы не исказили показаний? Не подкупали этого приказчика или кого там? А относительно того, что вам там что-то говорили, так кому до этого дело?

Патрон промолчал и продолжал устало и равнодушно:

– Не надо вот было денег в руки брать. Это нехорошо. И он нарочно в руку сунул, чтобы подешевле отделаться. Вы мне сейчас деньги эти возвратите, а денька через два я вам отдам, сколько стоит. У нас с ним свои счета. И не надо было о «седой голове» говорить, ведь об этом в деле ничего нет.

Толпенников покраснел и мрачно ответил:

– Сам не знаю, как это меня дернуло. Но я был уверен, что голова седая.

– Ну, это не так важно, – улыбнулся патрон, – хотя другой раз будьте осторожнее. У вас есть бумаги, есть свидетели, над этим и орудуйте. А от себя – зачем же?

– Но ведь в действительности она виновна?

– В действительности! – нетерпеливо сказал Алексей Семенович. – Откуда мы можем знать, что происходит в действительности? Может быть, там черт знает что, в этой действительности. И нет никакой действительности, а есть очевидность. А другой раз вы только с приказчиками не разговаривайте. Вы свободны сегодня вечером?

– Да, свободен.

– Перепишите-ка мне одну копийку. А действительность оставьте, нет никакой действительности.

Толпенников переписал копию и не одну только, а целых три. И когда, согнув голову набок и поджав губы, он трудолюбиво выводил последнюю строку, патрон заглянул через плечо в бумагу и слегка потрепал по плечу.

– Действительность! Ах, чудак, чудак!

На секунду выражение усталости исчезло с его лица, и глаза стали мягкими, добрыми и немного печальными, как будто он снова увидел что-то давно забытое, хорошее и молодое.

1900 г.

Рассказ о Сергее Петровиче

I

В учении Ницше Сергея Петровича больше всего поразила идея сверхчеловека и все то, что говорил Ницше о сильных, свободных и смелых духом. Сергей Петрович плохо знал немецкий язык, по-гимназически, и с переводом ему было много труда. Работу значительно облегчал Новиков, товарищ Сергея Петровича, с которым он в течение полутора учебных лет жил в одной комнате и который в совершенстве владел немецким языком и был начитан по философии. Но в октябре 189... года, когда до окончания перевода «Так сказал Заратустра» оставалось всего несколько глав, Новиков был административно выслан из Москвы за скандалы, и своими силами Сергей Петрович подвинулся вперед очень мало, но не сожалел об этом и вполне удовлетворялся прочитанным, которое он целыми страницами знал наизусть и при том по-немецки. Дело в том, что в переводе, как бы он ни был хорош, афоризмы много теряли, становились слишком просты, понятны, и в их таинственной глубине как будто просвечивало дно; когда же Сергей Петрович смотрел на готические очертания немецких букв, то в каждой фразе, помимо прямого его смысла, он видел что-то не передаваемое словами, и прозрачная глубина темнела и становилась бездонною. Иногда ему приходила мысль, что, если на свете явится новый пророк, он должен говорить на чужом языке, чтобы все поняли его. Конца книги, единственной из сочинений Ницше, которую оставил Новиков, он так и не перевел.

Сергей Петрович был студент третьего курса естественного факультета. В Смоленске у него жили родители, братья и сестры, из которых одни были старше его, другие моложе. Один брат, самый старший, был уже доктором и хорошо зарабатывал, но помогать семье не мог, так как обзавелся уже собственной семьей. Существовать Сергею Петровичу приходилось на пятнадцать рублей в месяц, и этого ему хватало, так как он обедал бесплатно в студенческой столовой, не курил и водки пил мало. Когда Новиков еще не уезжал, они пили очень много, но это ничего не стоило Сергею Петровичу, потому что все расходы по пьянству брал на себя Новиков, у которого постоянно имелись дорогие уроки по языкам. Раз по вине того же Новикова, любившего в пьяном виде сидеть на деревьях бульвара, куда взлезал за ним и Сергей Петрович, мировой судья приговорил обоих товарищей к десяти рублям штрафа, и штраф уплатил Новиков. При простоте товарищеских отношений это было вполне естественно и ни в ком не возбуждало сомнений, кроме самого Сергея Петровича. Но отсутствие денег было фактом, с которым приходилось мириться.

Существовали и другие факты, с которыми приходилось мириться, и когда Сергей Петрович глубже вглядывался в свою жизнь, он думал, что и она – факт из той же категории. Он был некрасив, – не безобразен, а некрасив, как целые сотни и тысячи людей. Плоский нос, толстые губы и низкий лоб делали его похожим на других и стирали с его лица индивидуальность. К зеркалу он подходил редко и даже чесался так, на ощупь, а когда подходил, то долго всматривался в свои глаза, и они казались ему мутными и похожими на гороховый кисель, в который свободно проникает нож и до самого дна не натывается ни на что твердое. В этом отношении, как и во многих других, он отличался от друга своего Новикова, у которого были зоркие, смелые глаза, высокий лоб и правильно очерченный, красивый овал лица. И высокое туловище, когда на нем приходилось носить такую голову, казалось Сергею Петровичу не достоинством, а недостатком, и, быть может потому, он горбился, когда ходил. Но самым тяжелым для Сергея Петровича фактом казалось то, что он был неумен. В гимназии учителя считали его прямо глупым и в младших классах открыто высказывали это. По поводу одного его нелепого ответа

батюшка назвал его «бестолочь смоленская и могилевская», и хотя прозвище и не привилось к нему, а стало нарицательным для всякого тупого ученика, Сергей Петрович не забыл его происхождения. И изо всего, кажется, класса он один оставался до конца без прозвища, если не считать имени «Сергей Петрович», которым величали его все: учителя, гимназисты и сторожа. Не было в нем ничего такого, на что можно было бы привесить остроумную кличку. В университете товарищи, очень вообще любившие распределять друг друга по уму, Сергея Петровича относили в разряд ограниченных, хотя никогда не высказывали этого ему прямо в лицо, но он догадывался сам по одному тому, что никто никогда не обращался к нему с серьезным вопросом и разговором, а всегда с шуткою. Стоило в то же время появиться Новикову, разговор тотчас переходил на серьезные темы. Вначале Сергей Петрович безмолвно протестовал против общего признания его ограниченным человеком и пытался сделать, сказать или написать что-нибудь умное, но, кроме смеха, ничего из этого не выходило. Тогда он убедился сам в своей ограниченности и убедился так крепко, что, если бы весь мир признал его гением, он не поверил бы ему. Ведь мир не знал и не мог знать того, что знал Сергей Петрович о себе. Мир мог услышать от него умную мысль, но он мог не знать, что мысль эта украдена Сергеем Петровичем или приобретена после такого труда, который совершенно обесценивал ее. То, что усваивалось другими на лету, ему стоило мучительных усилий и все-таки, даже врезавшись в память неизгладимо, оставалось чужим, посторонним, точно это была не живая мысль, а попавшая в голову книга, коловшая мозг своими углами. Особенное сходство с книгой придавало то обстоятельство, что всегда рядом с мыслью стояла ясная и отчетливая страница, на которой он ее прочел. Те же мысли, при которых не показывались страницы и которые Сергей Петрович считал поэтому своими, были самые простые, обыкновенные, не умные, и совершенно походили на тысячи других мыслей на земле, как и лицо его походило на тысячи других лиц. Трудно было помириться с этим фактом, но Сергей Петрович помирился. В сравнении с ним другие маленькие фактики – отсутствие талантов, слабая грудь, неловкость, безденежье – казались неважными.

Незаметно для самого себя Сергей Петрович сделался мечтателем, наивным и неглубоким. То он представлял себе, что он выигрывает 200 000 руб. и едет путешествовать по Европе, но дальше того, как он сядет в вагон, он ничего представить не мог, так как у него не было воображения. То он думал о каком-то чуде, которое немедленно сделает его красивым, умным и неотразимо привлекательным. После оперы он представлял себя певцом; после книги – ученым; выйдя из Третьяковской галереи – художником, но всякий раз фон составляла толпа, «они», – Новиков и другие, – которые преклоняются перед его красотой или талантом, а он делает их счастливыми. Когда длинными, неуверенными шагами, опустив голову в выцветшем картузе, Сергей Петрович шел в столовую, никому в голову не приходило, что этот невидный студент с плоским ординарным лицом в настоящую минуту владеет всеми сокровищами мира. В столовой он сжимался, наскоро проглатывал легонький обед и старался смотреть в сторону, когда проходил знакомый студент и глазами отыскивал свободное место. Он боялся таких встреч, так как никогда не знал, о чем говорить, а молча испытывал неловкость. Часто повторявшиеся мечты стали приобретать тень реальности, но чем ярче становилось представление того, чем мог и чем хотел бы быть Сергей Петрович, тем труднее становилось мириться с суровым фактом – жизнью.

Так же незаметно совершался разрыв с миром живых людей, и менее всех подозревал о нем Сергей Петрович. С привычкой к общественности, вынесенной из гимназии, он принимал участие во всех студенческих организациях и аккуратно посещал собрания. Там он слушал ораторов, шутил, когда с ним шутили, и потом ставил на клочке бумаги плюс или минус, а чаще уклонялся от голосованья, так как не мог в такое короткое время решить, на какой стороне справедливость. Но в общем его решения всегда сходились с мнением большинства и терялись в нем. Ходил Сергей Петрович и в гости и всякий раз при этом напивался с своими хозяевами

и другими гостями. Тогда он пел вместе с ними глухим, рыкающим басом, целовался и ездил к женщинам. Это были единственные женщины, которых он знал, и то только пьяный. Трезвому ему они внушали отвращение и страх. Других женщин, чистых и хороших, он не искал, так как был уверен, что ни одна не полюбит его. Были у него знакомые курсистки, и он краснел, кланяясь им на улице при встрече, но они никогда не говорили с этим ограниченным и некрасивым студентом, хотя знали, как и все, что его зовут Сергеем Петровичем. Таким образом, он не принадлежал, по виду, к студентам-одиночкам, проводившим глухую, никому не ведомую жизнь и появлявшимся только на экзаменах с массой писанных конспектов и с растерянным лицом, но в действительности у него совершенно отсутствовала живая связь с людьми, делающая общество их приятным и необходимым. И он не любил ни одного из тех, с кем шутил, пил водку и целовался.

Когда Сергей Петрович не мечтал и не занимался делом, он читал много и без разбору и только для того, чтобы прогнать скуку. Читать он не любил: серьезных книг – потому, что многого в них не понимал, романов – потому, что одни были слишком похожи на жизнь и печальны, как и она, другие же были лживы и неправдоподобны, как его мечты. Он мог мечтать о том, чтобы выиграть миллионы, но, когда он читал о таком случае в книге, ему становилось смешно и обидно за свои мечты. Правдивыми ему казались русские романы, но больно было читать их при мысли, что он один из таких же маленьких, источенных жизнью людей, о каких пишутся эти толстые и унылые книги. Но были два романа – оба переводные, которые он любил читать и перечитывать. Один из них он любил читать в дни печали и уныния, когда тоскливо плачущая и тяжело вздыхающая осень смотрела в окна и в душу, и стыдился говорить о нем. Это было «80 000 верст под водой» Ж. Верна. Его привлекала к себе могучая и стихийно свободная личность капитана Немо, ушедшего от людей в недоступные глубины океана и оттуда надменно презиравшего землю. Другую книгу была «Один в поле не воин» Шпильгагена, и он любил говорить о ней с товарищами и радовался, когда и они восторженно склонялись перед благородным деспотом Лео. Впоследствии, по совету Новикова, заметившего любовь Сергея Петровича к великим людям, он стал читать их биографии и читал с интересом, но каждый раз при этом думал: «Он был не такой, как я». И чем больше узнавал он великих людей, тем меньше становился сам.

Так жил Сергей Петрович до двадцати трех лет. На первом курсе он провалился по физике и с тех пор начал усиленно работать, а так как на естественном факультете работы много, то время проходило незаметно в железных объятиях труда. Понемногу притупилась острота печальных размышлений о незадавшейся жизни, и Сергей Петрович стал привыкать к тому, что он обыкновенный, неумный и неоригинальный человек. Мозг Сергея Петровича стоял на той грани, которая отделяет глупость от ума и откуда одинаково хорошо видно в обе стороны: можно созерцать и высшее благородство могучего интеллекта и понимать, какое счастье дает он своему обладателю, и видеть жалкую низость самодовольной глупости, счастливой за толстыми черепными стенами, неязвимой, как в крепости. И теперь он чаще смотрел в эту сторону и видел, что существует много людей, которые хуже его, и вид этих людей доставляет ему радость и успокоение. Сергей Петрович стал меньше читать и больше пить водки, но пил ее не по многу за раз, как делал раньше, а по рюмкам перед обедом и перед ужином, и так ему нравилось больше, потому что было только приятно и весело и отсутствовали болезненные ощущения похмелья. Летом, в Смоленске, у него случился первый в жизни любовный роман, очень смешной для всех окружающих, но для него приятный, поэтический и новый. Героиней его была девушка, приходившая в их сад полоть гряды, некрасивая, глупая и добрая. Сергей Петрович не знал, за что она полюбила его, и чувствовал к ней легкое презрение за ее любовь, но ему нравились и таинственные свидания в темном саду, и шепот, и страх. Когда осенью он уезжал в Москву, она плакала, а он сознавал себя как будто новым – гордым и довольным собою, так как и он оказался не хуже других: и у него есть настоящая женщина, которая любит

его без денег и плачет от разлуки. Как и многие другие, Сергей Петрович не думал, что он живет, и перестал замечать жизнь, а она текла, плоская, мелкая и тусклая, как болотный ручей. Но бывали мгновения, когда он точно просыпался от глубокого сна и с ужасом сознавал, что он все тот же мелкий, ничтожный человек; тогда он по целым ночам мечтал о самоубийстве, пока злая и требовательная ненависть к себе и к своей доле не сменялась мирной и кроткою жалостью. А потом жизнь снова овладевала им, и он еще раз повторял себе, что она – факт, с которым нужно мириться.

В это именно время, когда полное примирение с фактами становилось возможным и близким, он сошелся с Новиковым. Товарищи не понимали этого странного сближения, так как Новиков считался самым умным, а Сергей Петрович – самым ограниченным из земляков. Под конец они стали думать, что самолюбивый и тщеславный Новиков хочет иметь при себе зеркало, в котором отражался бы его блестящий ум, и смеялись тому, что зеркало он выбрал такое кривое и дешевое. Уверения Новикова, что Сергей Петрович вовсе не так глуп, как кажется, они считали выражением того же самолюбия.

Возможно, что это было и так, но Новиков был настолько сдержан и тактичен в проявлениях своего превосходства, что Сергей Петрович полюбил его. И это был первый человек, которого он любил, и первый друг, которого дала ему жизнь. Он гордился Новиковым, читал те книги, которые читал тот, и покорно следовал за ним по ресторанам, лазил на деревья и думал о своем счастье, позволившем ему быть другом человека, который судьбою предназначен для великих дел. С почтительным удивлением следил он за работой его кипучего ума, оставлявшего за собою, как версты, философские, исторические и экономические теории и смело стремившегося вперед, все вперед. Жалкою трускою плелся за ним Сергей Петрович, пока не увидел, что с каждым днем отстает все больше. И это был тяжелый день, когда Сергей Петрович, хотевший утопить свое я в чужом, глубоком и сильном я, понял, что это невозможно, и что он так же умственно далек от своего друга, с которым жил, как и от тех великих, о которых он читал. И помог понять это Ницше, которого ему открыл тот же Новиков.

II

Когда Сергей Петрович прочел часть «Так сказал Заратустра», ему показалось, что в ночи его жизни взошло солнце. Но то было полуночное, печальное солнце, и не картину радости осветило оно, а холодную, мертвенно-печальную пустыню, какой была душа и жизнь Сергея Петровича. Но все же то был свет, и он обрадовался свету, как никогда и ничему не радовался в жизни. В это недавнее время, о котором идет речь, в России о Ницше знали только немногие, и ни газеты, ни журналы ни слова не говорили о нем. И это глубокое молчание, которым был обвеян Заратустра, делало его слова значительными, сильными и чистыми, как будто они падали к Сергею Петровичу прямо с неба. Он не знал и не думал о том, кто такой Ницше, много ему лет или мало, жив он или умер. Он видел перед собою только мысли, облеченные в строгую и мистическую форму готических букв, и это отрешение мыслей от мозга, их создавшего, от всего земного, сопровождавшего их рождение, создало им божественность и вечность. И как пламенно верующий юный жрец, к которому спустилось долгожданное божество, он таил его от посторонних взглядов и испытывал боль, когда к божеству прикасались грубые и дерзкие руки. То были руки Новикова.

Иногда вечером, после совместного перевода нескольких глав, Новиков начинал говорить о прочитанном. Он сидел за своим столом, как за кафедрой, и говорил звучно, ясно и раздельно, отчетливо выговаривая каждое слово, ставя логические ударения и короткими паузами отмечая знаки препинания. Крупная голова его, коротко остриженная и похожая на точеный шар, но с резкими выпуклостями лба, крепко и неподвижно сидела на короткой шее; лицо его всегда оставалось бледно, и при сильном волнении только оттопыренные уши пылали, как два

кумачных лоскута, прицепленных к желтому бильярдному шару. Говорил он о предшественниках Ницше в философии, о связи его учения с экономическими и общественными течениями века и утверждал, что Ницше скакнул на тысячу лет вперед со своим основным тезисом индивидуализма «я хочу». Иногда он смеялся над туманным языком книги, в котором ему чувствовалась деланность, и тогда Сергей Петрович делал слабые попытки возражать. То, что говорил Новиков, казалось ему очень умным, таким, до чего он сам не дойдет никогда, но не согласным с истиной. И он чувствовал, что яснее и ближе понимает слова Заратустры, но, когда он начал растолковывать их, выходило плоско и жалко и совсем непохоже на то, что он думал. И он умолкал, чувствуя злобу к своей голове и языку. Но случалось, что Новиков увлекался красотой ритмической речи Заратустры и подпадал под влияние недосказанного. Тогда он декламировал своим ясным и сильным голосом, и Сергей Петрович благоговейно слушал, склонив некрасивую плоскую голову, и каждое слово выжигалось в его сонном и тяжелом мозгу.

Сергей Петрович не заметил того момента, когда в нем кончилось спокойное созерцание фактов и тупая тоска мирящегося с ними. Было похоже на то, как будто к пороховому бочонку приложили огонь, а долго ли тлел фитиль, он не знал. Но он знал, кто зажег его. Это было видение сверхчеловека, того непостижимого, но человеческого существа, которое осуществило все заложенные в него возможности и полноправно владеет силою, счастьем и свободой. Странное то было видение. Яркое до боли в глазах и сердце, оно было смутно и неопределенно в своих очертаниях; чудесное и непостижимое, оно было просто и реально. И при ярком свете его Сергей Петрович рассматривал свою жизнь, и она казалась совсем новою и интересною, как знакомое лицо при зареве пожара. Он глядел вперед себя и назад, и то, что он видел, походило на длинный серый и узкий коридор, лишенный воздуха и света. Позади коридор терялся в серых воспоминаниях безрадостного детства, впереди утопал в сумраке такого же будущего. И на всем протяжении коридора не виднелось ни одного резкого, крутого поворота, ни одной двери наружу, туда, где сияет солнце и смеются и плачут живые люди. Кругом Сергея Петровича плывут по коридору серые тени людей, лишенных смеха и слез, и безмолвно кивают своими тупыми головами, над которыми так безжалостно насмеялась жестокая природа.

Пока Новиков не уезжал из Москвы, Сергей Петрович каждый день производил одну и ту же работу и сравнивал себя с товарищем, на котором ему чудился отблеск сверхчеловека. Он наблюдал его лицо, движения и мысли и краснел, когда Новиков ловил на себе его тупые, но внимательные взгляды. Позднею ночью, когда Новиков уже спал, Сергей Петрович прислушивался к его тихому и ровному дыханию и думал, что и дышит Новиков не так, как он. И этот спящий человек, которого он раньше любил, казался ему теперь чуждым и загадочным, и загадкою было все: и глубокое дыхание его, и мысли, скрытые под выпуклостью черепа, и рождение его, и смерть. И непонятно было, что под одною крышею лежат два человека, и у каждого из них все свое, отдельное, непохожее – и мысли и жизнь.

Сергей Петрович не почувствовал горя, когда Новикова выслали из Москвы. Те двадцать четыре часа, которые провел с ним Новиков, укладывая вещи и ругаясь, прошли незаметно, и товарищи оказались на вокзале. Они были трезвы, так как денег хватило только на дорогу.

– А я напрасно дал вам Ницше, Сергей Петрович, – сказал Новиков с той чопорной вежливостью, которая была одной из странностей их совместной жизни и не покидала их даже в пьяные минуты на деревьях бульвара.

– Почему, Николай Григорьевич?

Новиков промолчал, и Сергей Петрович добавил:

– Я едва ли буду читать его. Для меня довольно.

Прозвучал третий звонок.

– Ну, прощайте.

– Будете писать? – спросил Сергей Петрович.

– Нет. Я не люблю переписки. Но вы пишете.

После минутной нерешимости они поцеловались, неловко, не зная сколько нужно поцелуев, и Новиков уехал. И, оставшись один, Сергей Петрович понял, что он давно желал и ожидал этого дня, когда он останется с Ницше один и никто не будет мешать им. И, действительно, с этой минуты никто не мешал им.

III

С внешней стороны жизнь Сергея Петровича резко изменилась. Он совсем перестал ходить на лекции и практические занятия и бросил на полку начатое для зачета сочинение: «Сравнительная характеристика углеводов жирного ряда и углеводов ароматического ряда». Товарищей он также перестал посещать и появлялся только на собраниях, и то ненадолго. Однажды студенты поехали большой компанией к женщинам и встретили там Сергея Петровича, и, что было удивительно, совершенно трезвого. Как и раньше, он краснел, когда над ним стали шутить, и когда выпил, то пел и говорил заплетающимся языком о каком-то Заратустре. Кончилось тем, что он стал плакать, а потом буянить, назвал всех их идиотами, а себя сверхчеловеком. После этого случая, над которым много смеялись, Сергея Петровича на некоторое время совсем утерли из виду.

С тех пор как Сергей Петрович появился на свет, ни разу голова его не работала так много и так упорно, как в эти короткие дни и долгие ночи. Бескровный мозг не повиновался ему и там, где он искал истины, ставил готовые формулы, понятия и фразы. Измученный, уставший, он напоминал собою рабочую лошадь, которая взвозит на гору тяжелый воз, и задыхается, и падает на колени, пока снова не погонит ее жгучий кнут. И таким кнутом было видение, мираж сверхчеловека, того, кто полноправно владеет силою, счастьем и свободой. Минутами густой туман завлакивал мысли, но лучи сверхчеловека разгоняли его, и Сергей Петрович видел свою жизнь так ясно и отчетливо, точно она была нарисована или рассказана другим человеком. Это не были мысли строго последовательные и выраженные словами, – это были видения.

Он видел человека, который называется Сергеем Петровичем и для которого закрыто все, что делает жизнь счастливою или горькою, но глубокою, человеческою. Религия и мораль, наука и искусство существовали не для него. Вместо горячей и деятельной веры, той, что двигает горами, он ощущал в себе безобразный комок, в котором привычка к обрядности переплеталась с дешевыми суевериями. Он не был ни настолько смел, чтобы отрицать Бога, ни настолько силен, чтобы верить в него; не было у него и нравственного чувства, и связанных с ним эмоций. Он не любил людей и не мог испытывать того великого блаженства, равного которому не создавала еще земля, – работать за людей и умирать за них. Но он не мог и ненавидеть их, – и никогда не суждено ему было испытать жгучего наслаждения борьбы с себе подобными и демонической радости победы над тем, что чтится всем миром, как святыня. Не мог он ни подняться так высоко, ни упасть так низко, чтобы господствовать над жизнью и людьми, – в одном случае стоя выше их законов и сам создавая их, в другом – находясь вне всего того, что обязательно и страшно для людей. В газетах Сергей Петрович читал о людях, которые убивают, крадут, насилуют, и каждый раз одна и та же мысль заканчивала чтение: «А я бы не мог». На улице он встречал людей, опустившихся до самого дна людского моря, – и здесь он говорил: «А я бы не мог». Изредка он слышал и читал о людях-героях, шедших на смерть во имя идеи или любви, и думал: «А я бы не мог». И он завидовал всем, и грешным и праведным, и в ушах его звучали беспощадно-правдивые слова Заратустры: «Если жизнь не удастся тебе, если ядовитый червь пожирает твое сердце, знай, что удастся смерть».

Сергей Петрович не ощущал потребности творить зло, но добрым быть он хотел. Это желание внушили ему книги и люди, и оно было сильно, но бесплодно и мучительно, как мучительна жажда света для прирожденного слепца. Он думал о своем будущем, и в нем не было места для добра.

По окончании университета Сергей Петрович намеревался поступить в акцизное ведомство, и, сколько он теперь ни думал, не мог понять, какое добро создаст он в должности акцизного чиновника. Он уже представлял себя, каким он будет – честным, исполнительным, трудолюбивым. Он видел, как с медлительною и строгою постепенностью движется он по лестнице повышений и, достигнув средней ступеньки, останавливается, разбитый годами, нуждою и болезнями. Он понимал, что заслуги его перед жестокостями жизни будут оценены, и он будет праздновать свой тридцатилетний юбилей, как недавно праздновал его отец. На юбилее будут говорить речи, и он будет слушать их и плакать от умиления, как плакал его отец, и целоваться с такими же, как и он, старенькими, седенькими, изгрызанными жизнью бывшими и будущими юбилярами. Потом он умрет с мыслью, что оставляет после себя десяток таких же детей, каким он был сам, и в «Смоленском вестнике» будет напечатано коротенькое жизнеописание, в конце которого будет сказано, что умер полезный и честный работник. И Сергею Петровичу кажется, что эта посмертная похвала горька и больна, как удар бичом по живому обнаженному мясу. И больна она потому, что люди, желая сказать приятную неправду, сказали обидную и неоспоримую истину. И Сергей Петрович думает, что, если бы люди всегда понимали то, что говорит их язык, они не осмелились бы говорить о полезности и оскорблять уже оскорбленных.

Не сразу понял Сергей Петрович, в чем заключается его полезность, и долго ворочался и содрогался его мозг, подавленный непосильной работой. Но рассеивался туман под яркими лучами сверхчеловека, и то, что было неразрешимую загадкою, становилось простым и ясным. Он был полезен, и полезен многими своими свойствами. Он был полезен для рынка, как то безыменное «некто», которое покупает калоши, сахар, керосин и в массе своей создает дворцы для сильных земли; он был полезен для статистики и истории, как та безыменная единица, которая рождается и умирает и на которой изучают законы народонаселения; он был полезен для прогресса, так как имел желудок и зябкое тело, заставлявшее гудеть тысячи колес и станков. И чем больше ходил Сергей Петрович по улицам и смотрел вокруг себя и за собою, тем очевиднее становилась для него его полезность. И сперва он заинтересовался ею, как открытием, и с новым чувством любопытства смотрел на богатые дома и роскошные экипажи и нарочно ездил лишний раз на конке, чтобы принести кому-то пользу своим пяточком, но скоро его стало раздражать сознание, что он не может сделать шагу, чтобы не оказаться кому-нибудь полезным, так как полезность его находится вне его воли.

И тогда он открыл в себе еще одну полезность, и она была самою горькою и обидною из всех и заставляла краснеть от стыда и боли. Это была полезность трупа, на котором изучают законы жизни и смерти, или илота, напоенного для того, чтобы другие видели, как дурно пить. Иногда ночью, в этот период душевного мятежа, Сергей Петрович представлял себе книги, которые пишутся о нем или о таких, как он. Он ясно видел печатные страницы, много печатных страниц, и свое имя на них. Он видел людей, которые пишут эти книги и на нем, на Сергее Петровиче, создают для себя богатство, счастье и славу. Одни рассказывают о том, какой он был жалкий, никуда не годный и никому не нужный, они не смеются и не издеваются над ним, – нет, они стараются изобразить его горе так жалко, чтобы люди плакали, а радость так, чтобы смеялись. С наивным эгоизмом сытых и сильных людей, которые говорят с такими же сильными, они стараются показать, что и в таких существах, как Сергей Петрович, есть кое-что человеческое; усиленно и горячо доказывают, что им бывает больно, когда бьют, и приятно, когда ласкают. И если у пишущих есть талант, и им удастся показать то, что они хотели, им ставят памятники, подножием которых является как будто бы гранит, а в действительности – бесчисленные Сергее Петровичи. Другие тоже сожалеют о Сергее Петровиче, но говорят о нем по рассказанному первыми и старательно обсуждают, откуда берутся такие, как он, и куда деваются, и учат, как нужно поступать, чтобы вперед не было таких.

Для капиталиста полезен, как родник его богатства, для писателя – как ступенька к памятнику, для ученого – как величина, приближающая его к познанию истины, для читателя – как объект для упражнения в хороших чувствах, – вот полезность, которую нашел в себе Сергей Петрович. И всю его душу охватил стыд и глухой гнев человека, который долго не понимал, что над ним смеются, и, обернувшись, увидел оскаленные зубы и протянутые пальцы. Жизнь, с которой он так долго мирился, как с фактом, взглянула ему в лицо своими глубокими очами, холодными, серьезными и до ужаса непонятными в своей строгой простоте. Все то, что до сих пор смутно бродило в нем и проявлялось в неясных грезах и тупой тоске, заговорило громко и властно. Его я, то, которое он считал единственно истинным и независимым ни от слабого мозга, ни от вялого сердца, возмутилось в нем и потребовало всего, на что оно имело право.

– Я не хочу быть немым материалом для счастья других: я сам хочу быть счастливым, сильным и свободным, и имею на это право, – выговорил Сергей Петрович затаенную мысль, которая бродит во многих головах и много голов делает несчастными, но выговаривается так редко и с таким трудом.

И в тот момент, когда он впервые произнес эту ясную и точную фразу, он понял, что произносит приговор над тем, что называется Сергеем Петровичем и что никогда не может быть ни сильным, ни свободным. И он восстал против обезличившей его природы, восстал, как раб, которому цепи натерли кровавые язвы на теле, но который долго не признавал униженности бесправного рабства и покорно сгибал спину под бичом надсмотрщика. Это было чувство лошади, которой силою чуда даровано человеческое сознание и ум в тот самый миг, когда кнут полосуется ее спину, и у нее нет ни голоса, ни силы на сопротивление. И чем дольше, сильнее и безжалостнее был гнет, тем яростнее был гнев восставшего.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.